



А. Л. Зиссерман  
Двадцать  
пять лет  
на Кавказе

Арнольд Зиссерман  
**Двадцать пять лет на  
Кавказе (1842–1867)**

«Кучково поле»

1879

УДК 355.4  
ББК 63.3

## **Зиссерман А. Л.**

Двадцать пять лет на Кавказе (1842–1867) / А. Л. Зиссерман —  
«Кучково поле», 1879

ISBN 978-5-9950-0373-1

Писатель Арнольд Львович Зиссерман (1824–1897) по праву снискал славу бытописателя Кавказа: состоя на гражданской службе, он участвовал во многих военных экспедициях, исполняя в том числе и миссионерские поручения. В 1850-х годах, не прекращая корреспонденций с театра военных действий, он печатает в «Современнике», «Русском вестнике», «Московских ведомостях» и «Русском архиве» статьи военно-исторического характера и воспоминания, которые дополняются заметками в «Русской старине». Труд «Двадцать пять лет на Кавказе. 1842–1867», вышедший впервые в свет в 1879 г., представляет собой яркий образец мемуарной литературы. Воспоминания автора о четвертьвековой службе, отличаясь информационной насыщенностью, не только освещают ход российского освоения Северного Кавказа, но и повествуют о том, как параллельно осуществлялось познание нового края. Автор дает глубокое представление о жизни, нравах, обычаях и отношениях народов, населяющих этот регион, рисует перед читателем грозно-неприступную, но в то же время манящую красоту природы Кавказа, раскрывает характер взаимоотношений российских властей с местным населением, причины и следствия успехов и неудач российского присутствия в этом регионе, а также описывает все тяготы, которые пришлось вынести русским солдатам и офицерам.

УДК 355.4  
ББК 63.3

ISBN 978-5-9950-0373-1

© Зиссерман А. Л., 1879

© Кучково поле, 1879

# Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Часть первая                      | 6  |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 99 |

# Арнольд Львович Зиссерман Двадцать пять лет на Кавказе (1842–1867)

## Часть первая 1842–1851

В течение 1876–1878 годов в «Русском вестнике» печатались отрывки из моих воспоминаний о долголетней службе на Кавказе.

Для многих чтение журналов или совершенно недоступно, или сопряжено с различными затруднениями, лишаящими читателя возможности сохранить в памяти связное представление о прочитанном, особенно если нечтение продолжалось долго и с перерывами. Это побудило меня издать «воспоминания» с некоторыми исправлениями и дополнениями – отдельной книгой, разделив ее для удобства на две части.

Не придаю своему труду никакого исторического, а тем более литературного значения, но полагаю, что всем, служившим на Кавказе в продолжение долгой эпохи войны нашей с тамошними горами, небезынтересно пробежать несколько страниц, могущих напомнить им давно минувшее время и некоторых лиц, с которыми всякому из них, без сомнения, приходилось более или менее сталкиваться.

Кавказ прежних времен имел свойство так привлекать к себе всех, проведенных в нем несколько лет, что привязанность к нему не исчезала и после долгого времени, проведенного в других местах. Таким старым кавказцам дороги всякие о нем воспоминания, и их-то (а число их, рассеянных по всем уголкам нашего обширного отечества, очень значительно) имел я главнейше в виду, составляя мой посильный труд.

### I.

Мне было 17 лет, когда, живя в одном из губернских городов, я в первый раз прочитал некоторые сочинения Марлинского. Не стану распространяться об энтузиазме, с каким я восхищался «Амалат-беком», «Мулла-нуром» и другими очерками Кавказа; довольно сказать, что чтение это родило во мне мысль бросить все и лететь на Кавказ, в эту обетованную землю с ее грозной природой, воинственными обитателями, чудными женщинами, поэтическим небом, высокими, вечно покрытыми снегом горами и прочими прелестями, неминуемо воспламеняющими воображение семнадцатилетней головы, да еще у мальчика, с детства уже обнаруживавшего чрезвычайную склонность к ощущениям более сильным, чем обыкновенные школьные забавы. Оставалось придумать средства привести план в исполнение, и я строил ежедневно кучу предположений, оказывавшихся на другой день никуда не годными. Вдруг, совершенно неожиданно, представился, по-видимому, удобный случай. Один знакомый мне канцелярский чиновник, с которым я заговорил о Кавказе, вспомнил, что недавно читал какое-то новое положение об этом крае, о льготах, предоставляемых служащим в нем, и прочем, и что самое лучшее было бы проситься туда на службу. Мысль мне понравилась, и, не откладывая дела в долгий ящик, как и подобает юношам, мы предварительно достали огромную канцелярскую книжицу сенатских указов, прочитали составленное сенатором бароном Ганом «Положение об управлении Закавказским краем 1840 года», то есть читали не все Положение,

а главы о преимуществах вызываемых туда на службу, и в начале декабря 1841 года отправили просьбы к тифлисскому губернатору о принятии нас на службу в его ведомство.

Признаться, мы имели весьма мало надежды на успех, и когда наступил уже май 1842 года, а известий из Тифлиса никаких не было, мы, что называется, махнули рукой и стали подумывать, не попытаться ли поступить на службу в Восточную Сибирь, лишь бы куда-нибудь подальше пропутешествовать и удовлетворить страсти к передвижениям и сильным ощущениям. Между тем около половины мая в губернском правлении получили бумагу из Тифлиса, что просьбы наши приняты, что нас вызывают на основании такого-то параграфа Положения, для чего снабдить подорожными, прогонами и прочим. С восторгом выслушав это известие, мы после коротких сборов без малейших опасений за будущее 30 мая 1842 года уселись на перекладную и пустились в далекий неведомый путь.

Скучна и утомительна была однообразная дорога по степям Херсонской, Екатеринославской и других южных губерний. Невыносимый жар, недостаток воды, полуразвалившиеся хаты вместо почтовых станций, скверные клячи, едва везущие тряскую телегу, стада сусликов (овражков) да миражи, дразнящие на каждом шагу надежды на тень и воду. Вдобавок мы ехали без всякого маршрута и по произволу станционных смотрителей попали на какой-то кружный путь через Орехов, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь и Таганрог, по самым пустынным степям, палимым июньским солнцем. Наконец, набравшись горя на славившихся своими беспорядками станциях в Войске Донском, мы дотащились до Ставрополя, который хотя и считался уже Кавказом, но ничем не отличался от любого губернского города средней руки. Два условия только придавали ему особенный характер: костюмы линейных казаков и изредка попадавшихся туземцев, особенно верхами, в полном вооружении, и еще более великолепный вид на Кавказский хребет, который, невзирая на почти четырехсотверстное отдаление, в светлое утро весь, как выточенный рельеф гигантских размеров, величественно поднимался между мглой долин и синевой неба. До Георгиевска опять степная, изрезанная глубокими балками дорога. Вдруг вправо показывается Эльборус, как будто окруженный четырьмя огромными, отдельно стоящими холмами, и все это, кажется, рукой подать, между тем до этих холмов, у подножия которых Пятигорск и минеральные воды, 40 верст. Далее до Екатеринограда и оттуда до Владикавказа на дороге стояли пикеты казаков на вышках, ездили с конвоем, попадались двухколесные скрипучие арбы с вооруженными туземцами погонщиками, да на каждой станции угощали рассказами о тревогах, нападениях и вообще происшествиях, в которых только и слышались слова: немирные, мошенники-мирные, убили, зарезали, схватили, угнали... Все это очень резко бросалось в глаза едущим из тех городков, где тишина нарушалась разве пьяным криком «караул!»...

Во Владикавказе туземный элемент уже видимо преобладал на улицах, и я останавливался на каждом шагу любоваться этими молодецкими фигурами в живописных костюмах, ловко сидящими в седле. Здесь же в первый раз увидел я туземных женщин, пришедших на базар продавать кур, масло и прочее. Все они были в каких-то лохмотьях зеленого или синего цветов, наружность весьма непривлекательная, грязь непомерная. Где же «девы гор»?..

Владикавказ, преддверие настоящего Кавказа, – очень оживленное место; миновать его нельзя, он связывает Россию и Грузию; окрестности его очень живописны, в самом городе с шумом быстро несется мутный Терек. По истечении суток мы убедились в напрасном ожидании почтовых лошадей, которые, по словам смотрителя, в разгоне. Случившийся в казенной гостинице офицер-старожил дал нам добрый совет: не теряя напрасно времени, нанять лошадей у осетин и ехать верхом до станции Коби, лежащей у подножия перевала через хребет.

Заплатив чуть ли не тройные прогоны за две клячки, на которых вместо седел были какие-то обрывки войлоков (вещи навьючили на третью), мы пустились в путь с двумя оборванными проводниками. Они всю дорогу без умолку так громко говорили между собой, так сильно жестикулировали, что мы все ожидали драки; не понимая ни слова, с воображением, настро-

енным преувеличенными толками об опасностях, под впечатлением дикой угрюмой местности мы уже стали опасаться, что нас заведут в тущобу и зарежут огромными, болтавшимися на поясах кинжалами... Однако нечего было делать, подвигались все дальше, проехали Балту – небольшое поселение военно-рабочих на дороге и стали углубляться в ущелье; у станции Ларс делали привал да среди русского населения отдохнули от страха, испытанного в течение нескольких часов, и уверились, что проводники курицы не обидят, что «кричат они всегда – такой уж у них, барин, нрав азиатский», как выразился солдатик – сторож почтовой станции.

Опять вскарабкались на тощих буцефалов и тронулись мерным шагом дальше к знаменитому Дарьялу, где река Терек, громадность упирающихся в него отвесных скал, огромные, грозящие падением на голову камни, вся эта величаво-дикая природа производит, особенно на едущих в первый раз, впечатление, трудно передаваемое на бумаге. Все поэтические описания, посвященные этим местам, все-таки слабы перед действительностью. Понятно, что я был восхищен и с каким-то трепетом сердечным то поднимал голову вверх, чтобы смотреть на скалы, на торчащие из расщелин сосны, на сочащиеся источники, то опускал их вниз, чтобы смотреть на пенящуюся реку, с каким-то бешенством стремящуюся миновать все препятствия, образовавшиеся на ее пути в виде обломков скал и гранитных теснин; я вслушивался в этот особенный шум, будто не совсем однообразный, будто силившийся что-то выразить.

Ущелье все сужалось, не допуская солнечных лучей, оно принимало все более мрачный вид; люди и лошади, даже кое-какие постройки по дороге – все это казалось чем-то таким мелким, невзрачным против этой величественной обстановки... Дорога, беспрестанно поднимающаяся и спускающаяся по крутым береговым откосам, вся усеяна камнями, и нужно было удивляться, как выносили во время оно русские кости скачку в телегах по этому пути. В ауле Казбек, лежащем недалеко от подножия горы этого имени, проводники пригласили нас к себе. В первый раз был я в доме туземца, но, невзирая на любопытство, долго не мог оставаться: едкий дым соснового дерева, вонь от навоза, невыделанных овчин и скверного табаку, полунагие грязные дети, оборванные женщины, овцы, телята – все это вместе у одного разведенного посреди сакли огня, над которым на железной цепи висит черный котел с какой-то похлебкой, а в золе пекутся лепешки, вот что составляло вид этого жилища. Привыкши к деревенской обстановке в Малороссии, где у беднейшего крестьянина в хате все опрятно, я просто глазам своим не верил. Какая же тут, думал я, возможна поэзия, где же девы гор, где же эти эдемы Марлинского? Верно, дальше – ведь край большой... ну, скорее вперед.

К позднему вечеру достигли Коби. Картина изменилась: ущелье шире, Терек не шумит, а едва заметно пробирается по долинке, горы кругом уже не отвесными скалами, а более покатыми грядами обступают долину, нигде ни деревца, ни цветка. Хотя это было в последних числах июня, но ночь была холодная, мартовская: комната на почтовой станции – совершенный ледник; сторож из военно-рабочих, солдат-еврей, весьма любезно предложил затопить, «если господа желают». Что за вопрос, кто же не пожелает? «Пожалуйста, поскорее, да хорошенько, мы вам уж на чаек за это». – «Рады стараться, ваше высокоблагородие», – совершенно уже по-солдатски выкрикнул лукавый солдатик-еврей и исчез. Через десять минут он явился с небольшой вязанкой дров, затопил печь и скрылся опять. Тепла от этой топки не произошло: печь огромная, комната тоже большая, остуженная – нужно бы много дров, чтобы ее согреть, но мы уже напились чаю, не решались во зло употреблять любезность сторожа и собирались улечься на твердых дощатых диванах, накрывшись всем удобным для этого, как дверь отворилась, и он появился с той же услужливо-улыбающейся физиономией. «Так как я, ваше высокоблагородие, должен до рассвета отправляться по службе на Казбекскую станцию, то позвольте получить теперь расчет». – «Очень хорошо. Сколько следует за самовар? (больше мы ничего не брали)». – «За самовар 30 копеек, да 15 фунтов дров по пяти копеек за фунт – 75, да мне за работу, если больше не пожалуете, то по положению десять копеек». Вот чем окончилась услужливость сторожа. Не говоря уже, что при наших средствах издержка была очень чувстви-

тельная, мы были возмущены положением, чтобы проезжающие, да еще на службу, сами отапливали станцию, наконец, этой формой эксплуатации не ведающих правил и цен. Дрова на фунты! Этого мы никак не могли сообразить. Впрочем, здесь, кстати заметить, после, в течение двадцати пяти лет, я достаточно убедился, что такого самоуправления, такого бесконтрольного, просто нахального попиранья всяких правил, как в управлении почтовой гонкой, едва ли еще где-нибудь можно было встретить. Мне придется еще подробнее рассказывать об этом предмете и во времена более нам близкие.

На другое утро туман покрывал все вокруг, и сырость в виде инея садилась на платье. Я никак не мог составить себе ясного понятия, как совершается предстоящий нам перевал через горы, как долго он совершается и в чем заключается опасность, ради которой все проезжающие как-то стереотипно повторяют: «Вот лишь бы через горы благополучно перебраться». Наконец, звеня двумя колоколами под дугой и десятками бубенцов, подкатила к крыльцу ухорская тройка, мы уселись и версты две по ровной почти дороге пронеслись, как только можно пронести на Руси, когда ямщик – лихой парень, а тройка – сытая, незагнанная. Начался подъем; я весь обратился во внимание, думая, какие препятствия должны встречаться на переезде через горы, вечно покрытые снегами, видимые за 400 верст... Однако то шагом, то кое-где рысцой, то по обрывистому берегу какого-то бурливого потока, то по долине, встречая и тройки, и верблюжьи караваны, и верховых, мы через два с половиной часа были уже на станции Кайшаур, на южном склоне хребта, не вылезая за всю дорогу из телеги... Подъем в некоторых местах был крут, по Гут-горе дорога шла над обрывом, казавшимся неизмеримой бездной, в которой виднелись аулы и постройки весьма миниатюрных размеров; вид был вообще дико-унылый, в некоторых местах лежали грязные снежные глыбы, остатки обвалов, но ничего ни особенно поражающего, ни опасного я не заметил. Впоследствии, проехав по этому пути не один десяток раз и в разные времена года, я уяснил себе, почему действительность так не соответствовала тогдашнему воображению, и убедился, что об опасностях недаром толковали, и вообще почему переезд через горы считали чуть ли не подвигом.

Высшая точка перевала – около 7600 футов, из которых до половины, если не более, уже пройдено от Владикавказа до Коби постепенным, не совсем заметным подъемом; следовательно, вторую половину по разработанной дороге немудрено было без больших затруднений в два часа проехать, а что виднеется за 400 верст в виде сплошной цепи гор, покрытых снегом, – это только вершины отдельно поднимающихся гор, высшие точки хребта, удерживающие снег всегда и на далеком расстоянии кажущиеся сплошным протяжением; переезды же, само собой, выбираются на более низких уступах. Опасность, смотря по времени года, заключалась в снеговых или земляных завалах, обрушивающихся на дорогу непредвиденно, с ужасной быстротой и силой, да в бешеных потоках, да в возможности полететь с обрыва, если бы лошади, испугавшись, бросились в сторону или не удержались на спуске и т. д., но чуть не главную опасность видели в возможности остаться в каком-нибудь Кайшауре или Коби на пять-шесть дней, когда всякое сообщение прекращалось вследствие завалов, или сноса бешеным водопадом моста, или разливом Терека по дороге. Мы проезжали в хорошее время и при особенно счастливых условиях: дорога готовилась для проезда военного министра графа Чернышева, и станционные диктаторы не только не задерживали проезжающих, но даже с любезностью старались скорее выпроваживать гостей.

Спуск от Кайшаура к Квишету, резиденции окружного начальника, управляющего племенами, по дороге живущими, был хорошо разработан; словом, мы без всяких затруднений подвигались очень скоро и достигли станции Пасанаур на берегу быстрой Арагвы в живописном ущелье: крутые покатоги гор покрыты лесом, каменные башнеобразные жилища горцев разбросаны по склонам гор, клочки пашен по крутизнам, множество потоков, низвергающихся белыми пенистыми полосками, непрерывный шум воды, подчас треск, будто падение большого срубленного дерева, едва заметные стада овец, пасущихся над обрывами, переезжающие

через быструю реку верхами туземцы – все это, слитое в одну картину, в одно впечатление чрезвычайно своеобразного, никогда не виденного.

Далее Ананур, Душет, небольшие грузинские городки, в которых резко выразился уже характер плодородной Грузии с ее беспечно веселым населением, живущим под теплым небом; здесь уже встречались тяжелые, неуклюжие двухколесные арбы, запряженные парой буйволов, еле-еле переставляющих ноги; загорелый, в расстегнутой красной рубаше, с черными кудрявыми волосами погонщик, распеваящей во всю здоровую глотку какую-то неуловимую мелодию, прерываемую гиком на животных и хлопаньем кнута; женщины, укутанные в белые *чадры* (покрывала), в *кошах* (туфли на высоких каблуках), поглядывающие исподлобья. Далее виноградные сады, фиговые, персиковые деревья; становится невыносимо жарко, солнце палит, воздух как-то особенно сух, земля тверда как камень, тряска и пыль невыносимы. Миновали Мцхет, древнюю столицу грузинских царей, переехали по прекрасному мосту реку Куру у слияния ее с Арагвой; *духаны* (кабаки) стали умножаться, транспорты арб с дровами, ослов, навьюченных корзинами с зеленью, с угольями, все более и более стесняют дорогу; все чаще попадаются верховые женщины, сидя по-мужски, под большими зонтиками, иногда сзади мужчина на той же лошади, иногда напротив мужчина в седле, а женщина сзади, свесив ноги в разноцветных шерстяных носках, в руках держит свои коши... Все картинки, врезающиеся в память своей оригинальностью и возбуждающие усиленное внимание человека, не покидавшего до этого времени своего степного уезда.

Движение стало заметно увеличиваться – чувствуется близость большого города, цели долгого путешествия. Мы поднялись на небольшой холм, и глазам нашим вдруг открылась огромная котловина со множеством сидящих друг на друге строений, с быстрой рекой, разрезающей эту картину; вдали, на высоком левом берегу, большие белые здания, очевидно казенные, далее неизмеримая равнина, сливающаяся на горизонте с полосой высокого хребта гор. Еще спуск мимо памятника, где император Николай в 1837 году упал из опрокинутого испугавшимися лошадьми экипажа, переезд через речку Веру, опять подъем и – «пожалуйста подорожную», забасил унтер в фуражке с белым чехлом, выйдя из караульного дома, а ямщик в это время подвязывал колокольчик. Итак, я очутился в Тифлисе.

Представить очерк этого города, по которому можно бы себе составить о нем приблизительное понятие, довольно трудно (не нужно забывать, что Тифлис 1842 и 1878 годов – это Азия и Европа; теперь приходится искать восточные особенности, а тогда они просто бросались в глаза). На каждом шагу встречалось столько разнообразия, столько обращавшего на себя внимание приезжего, так было мало сходства с нашими городами, столько смеси восточного с западным, что только талантливая кисть могла бы живо набросать эту картину. При самом отчетливом, подробном описании пропустишь какой-нибудь предмет, едва уловимый, но резко характеризующий город с его разноплеменным населением, оригинальными обычаями и веселой на свой лад, шумной жизнью.

Издали казалось, что увижу совершенно азиатский город с узенькими переулками, без площадей, с маленькими, скрытыми за каменными оградами домиками, с неподвижным населением, избегающим палящих лучей солнца, но, миновав заставу, мы поехали по широкой улице с красивыми этажными домами, встречались дрожки извозчиков, коляски, модно одетые дамы и франты, как во всяком большом губернском городе. Медленно подвигаясь вперед мимо гимназии, дома главнокомандующего, корпусного штаба, мы очутились на Эриванской площади, застроенной большими домами, но все это было не вымощено, в ухабах, пыль вершковым слоем покрывала улицы, носилась густым облаком в воздухе. Середина площади была завалена складами бревен, у которых толпилась кучка туземных горожан, передавая друг другу новости и сплетни. Затем поворот налево – Армянский базар, и картина резко изменилась: просто скачок из Европы в Азию. Узенькая улица, где двум дрожкам с трудом можно разминуться, и на ней «какая смесь одежд и лиц, племен, наречий, состояний»!

Взгляните на этого важного персиянина в высокой остроконечной папахе, в нескольких, надетых один на другой, бешметах, подпоясанного широкой кашмирской шалью, постукивающего коваными каблуками зеленых кошей. Полюбуйтесь на этого грузина: какая красивая физиономия, какая энергия во всех движениях, как он хорош в своей загнутой папахе, в чухе с закинутыми на плечи рукавами (совершенно польский кунтуш), в шелковом ахалуке, обшитом позументами, в широких шелковых шальварах, шумящих при каждом движении, в сапогах с загнутыми носками в виде усиков; как он молодецки идет, держась одной рукой за большой в серебре кинжал и покручивая другой черные длинные усы. А вот купец-армянин, идущий медленно, не обращая никакого внимания на снующую мимо толпу, углубленный в собственную мысль – верно, коммерческие соображения; какая положительность во всем – от костюма до походки, от плотной материи ахалука до степенного покроя чухи, от гладко выбритого лица и даже затылка до объемистого брюха, от огромного носа до коротко подстриженных усов. Обратите внимание на этого *мушу* (носильщик тяжестей) имеретина, у которого на голове вместо шапки какой-то войлочный блин, длинные кудрявые волосы покрывают шею, на нем ободранный солдатский мундир, приобретенный за несколько копеек на толкучке, широкие шальвары и *коломаны* (род лаптей из сыромятной кожи); он согнулся под тяжестью огромного шкафа или непомерной длины мешка с хлопчатой бумагой, так что, глядя сзади, кажется, будто шкаф движется сам собой... Или вот борчалинский татарин с лицом оливкового цвета, в огромной рыжей папахе, в бурке, невзирая на 35-градусную жару, подпоясанный желтым шерстяным платком, на котором болтается кинжал. А как хорош этот черкес с черной бородкой, в круглой меховой шапке, подтянутый ремнем, за которым торчит пара красивых пистолетов, в разноцветных ногавицах и красных сафьянных *чувьяках* (род башмаков); как легки все его движения, как все изобличает лихого наездника. Заметьте этих куртин, рослых здоровых людей в красных куртках, вышитых синими или желтыми шнурами, в широчайших синих шальварах, тяжелых красных сапогах, в разноцветных чалмах, с кривыми турецкими саблями у боков. А тут навстречу оборванный *кро* (так называют переселенцев азиатской Турции) в какой-то войлочной арлекинской шапке, несущий большой кувшин воды; или *тулух-чи* (водо-воз), ведущий лошадь, навьюченную двумя огромными кожаными мехами, в которых он развозит воду. Дальше целые вереницы женщин, укутанных с ног до головы в белые чадры, как привидения, тихо подвигаются, постукивая железными каблучками; иные, уже обрусевшие, в салопах, но с грузинским головным убором; татарки в клетчатых чадрах; тут же попадаются и наши бородатые мужички, неуклюжие бабы с талиями под мышками, кучки солдат, форменные сюртуки – и все это перемешано, все движется, толкается, шумит на разных наречиях, дрожки скачут взад и вперед, гремя несносно по мерзкой мостовой, извозчики кричат «хабарда!» (сторонись); продавцы зелени, полузакрытые кучами овощей и трав (до которых азиаты большие охотники), стучат железными весами, звенят привешенными к потолку лавки колокольчиками, зазывая покупателей пронзительными криками: «Ба, ба, ба: суда, суда!» (то есть сюда). Лавочные сидельцы поигрывают на гармониях, не забывая в подражание нашим гостинодворцам всякого проходящего забросать известными: «Что покупаете? Пожалуйста, дешево продаем» и прочее; в сапожных лавках стучат молотками, в шубных – распевают во все горло, в оружейных – стукотня и визг подпилков; множество мальчишек бранятся или поют, силясь издавать визгливые горловые звуки и шныряют между толпой; все открыто, нараспашку, и работают, и едят, не отвлекаясь происходящим перед глазами. Плоские кровли домов усеяны женщинами и детьми: тоже иные ссорятся, иные пляшут под бубен; там идет веселая компания, пищит *зурна* (род кларнета), напрасно силясь заглушить звонкий голос восторженного певца, ободряемого возгласами пирующих *дардымандов* (так называли туземцы забубенных кутил, ведущих разгульную жизнь, главой которых в те времена был князь Арчил Багратион-Мухранский, к великому огорчению своей аристократической родни). Тут скрипит арба, везущая

огромный *румби*<sup>1</sup> с кахетинским вином; там ряд лениво выступающих верблюдов, навьюченных белыми кожаными тюками, столпился у ворот караван-сарая, загородив всю дорогу; десятки навьюченных ослов, понутив головы, пробираются в толпе, подгоняемые немилосердными мальчишками, израненные пинками острых палок. Наконец, после всего этого попадаешь на татарский *мейдан* (площадь, базар), на котором видны только сотни голов в бараньих папах и чалмах или обнаженных, бритых; слышен какой-то гул, совершенное жужжание пчел, сливающийся с однообразным шумом реки, в нескольких шагах протекающей.

Мы переехали мост и мимо лавок с сушеной рыбой повернули в очень грязную улицу, застроенную, однако, небольшими европейскими домиками, – это Пески, часть немецкой колонии, где был известный тогда всему служебному Кавказу трактир колониста Зальцмана.

Когда ямщик, внеся вещи и почесав затылок, получил на водку, вышел и, стоя повернув тройку назад, вскоре скрылся из глаз, мной в первый раз после выезда с родины овладела сильнейшая тоска...

Гостиница оказалась мерзейшей во всех отношениях: и грязь, и множество насекомых, между которыми я некоторых принял за скорпионов и фаланг, потому первую ночь не решился лечь и просидел до утра при свече. Первые впечатления в Тифлисе были не особенно веселого свойства. Вдобавок расстояние до европейской части города было не менее двух с половиной верст, которые приходилось при невыносимой жаре до 38–40 градусов проходить по грязным торговым площадкам и тесным переулкам, а на извозчиков не хватало средств.

На другой день нашего приезда был праздник и всякие парады и торжественные проводы в честь отъезжавшего военного министра графа Чернышева, ревизовавшего и «благоустроивавшего» Кавказский край при помощи статс-секретаря Позена...

Жар и невыносимая пыль от усиленной езды парадных мундиров и разряженных дам были поводом, что я от Сионского собора должен был вернуться в свой грязный трактир и только около семи часов вечера опять пустился на Головинский проспект, центр всех празднеств.

В здании гимназии был бал, а против нее на площадке – фейерверк. Вид был великолепный: множество огней, взрывы ракет. Кура, плававшая смоляными бочками, смешанные звуки военной музыки с зурнами и бубнами, хлопанье нескольких сотен человек в ладоши плясавшим на улице туземцам, толпы женщин в белых чадрах, медленно двигавшихся кругом, как привидения, на горизонте старая крепость на высокой горе, освещенная длинным рядом площадок, – все в одном общем неясном гуле, и над всем южное как-то особенно темное, усеянное мигающими звездами небо...

## II.

Июль 1842 года изобиловал такими жаркими днями, что многие, пробывшие в Тифлисе несколько лет, с трудом переносили эту удушливую, расслабляющую атмосферу: доходило до 44 градусов, ночью немногим было легче, да везде пыль, а вода теплая, мутная, из кожаных мехов. Трудно было в такое время совершать немалые переходы по городу, но откладывать некогда, дел оказалось много: губернское правление вызывало чиновников на службу, но мест им не давало, а предоставляло искать самим или же ожидать открытия вакансий, а до того заниматься в правлении без содержания; впрочем, вакансии открывались весьма часто, но в уездах, вне Тифлиса; на выезд же я не мог никак решиться сначала и потому должен был искать в городе службу с каким-нибудь содержанием, а то – голод не свой брат...

Моя чрезвычайная молодость (18-й год), вид скорее гимназиста, нежели человека, приехавшего за две тысячи верст на службу, возбудили особенное участие некоторых второсте-

---

<sup>1</sup> Бурдюк, мех, из цельной кожи буйвола.

пенных чиновников губернского правления, и они дали мне несколько наставлений, благодаря коим я уже дней через десять имел по крайней мере обеспеченное положение, службу в Палате государственных имуществ и мог, рассчитавшись с грязной гостиницей на Песках, перебраться в соседство к месту службы, в так называемую Арсенальную слободку, к одному из моих новых сослуживцев, некоему В. Ф. Б., годом раньше приехавшему из Смоленска, отличному во всех отношениях человеку и чиновнику, ныне занимающему там же довольно видный пост.

Устроились мы с ним, по тогдашним условиям, хорошо, в какой-то землянке, окна которой были на горизонте улицы, впрочем, опрятно содержащейся (не улице, а землянке). Обед приносила нам соседняя солдатка хороший, кажется, за 10 рублей в месяц; вообще 25 рублей, месячное жалованье, удовлетворяло главным потребностям. Служба состояла в переписывании от 8–9 до 2–3 дня и от 6–7 до 10–11 вечера... Господи, как вспомнишь это неустанное (часто и по праздникам) общее скрипение каких-нибудь пятидесяти перьев, думавших, что совершают важное дело, – просто жутко становится. Такой бюрократической квинтэссенции, как была, например, эта Палата государственных имуществ, трудно себе представить; управлял ею некто Никита Степанович Орловский, человек весьма почтенный, но бюрократ до ногтей, всю жизнь свою, с двенадцатилетнего возраста, проводивший в канцеляриях, начав мальчиком, бегающим за водкой и бубликами для старых подьячих, в Чернигове кажется, поднявшись затем до должности казначея в канцелярии главных начальников Грузии, наконец, назначенный управляющим палатой, украшенный несколькими орденами и с властью казнить и миловать всех своих подчиненных. К чести его, однако, должно сказать, что работал он сам чуть не больше всех своих чиновников и ни в каких злоупотреблениях никто никогда его не подозревал.

Все государственные имущества, за исключением нескольких оброчных статей, по тогдашним обстоятельствам Кавказского края едва ли стоили того, во что обходилось содержание палаты с ее подведомственными уездными управлениями; они точно так же могли заведовать казенной палатой без новых издержек, как и до 1841 года, то есть до учреждения Особой палаты государственных имуществ. Например, в Эриванской провинции (уезде) в числе казенных имуществ считались имения, конфискованные у бежавших в Персию жителей, состоявшие нередко из одной восьмой, даже одной двенадцатой части мельницы, коей вся-то цена 100–150 рублей, следовательно, казенная часть 8–10 рублей; или из такой же доли земельного участка, на котором сеют енжу, род клевера. И вот Палата государственных имуществ (название громкое) заведует этими частями мельниц через своего особого местного агента, окружного начальника, а остальные части ее – в распоряжении других частных владельцев, не ушедших в Персию; собираются доходы, ведется им отчетность, возбуждаются вопросы, пишутся огромные журнальные постановления с неизбежными «приказали: так как... а потому»; перья скрипят, спины ноют; в результате или 1 рубль 76 с половиной копеек, внесенных в уездное казначейство за проданные 155 пучков енжи, или исключение оной восьмой части мельницы из табелей за совершенной бездоходностью или за явкой обратно из-за границы Келбалай-Гасан-Мустафы-Оглы и прочее, и прочее.

Это монотонное канцелярское существование не могло удовлетворять моей подвижной натуре, постоянно жаждавшей перемен, новых образов и ощущений. Вне службы я предался чтению с каким-то запоем. «Библиотека для чтения», «Отечественные записки», сочинения Марлинского, переводные романы Дюма, Сю и множество всякого печатного хлама, за недостатком тогда более питательной умственной пищи, проглатывались с жадностью. Город и его окрестности после первых, скоро исчезнувших впечатлений стали мне противны. Я рвался вон, куда бы то ни было, лишь бы побывать в новых местах, посмотреть поближе на тот Кавказ, который рисовала мне собственная фантазия, возбужденная очерками Марлинского, на те горы и дикие ущелья, где геройствовали наши войска – одним словом, где, казалось, должен быть другой, неведомый мир, полный всяких диковин и сильных ощущений. Скука и тоска, одоле-

вавшие рано или поздно всех приезжих, отсутствие всяких общественных удовольствий при ежедневных утомительно-механических занятиях переписыванием «так как и потому» делались невыносимы.

Чиновный класс так резко делился на высший и низший, что среднего почти не было; гостиные первых были недоступны низшим, а эти по недостатку средств жили замкнуто, вынужденные предаваться картам или вакхическим развлечениям, страсть к коим была развита в поразительной степени, особенно в уездных городках. Изобилие и дешевизна местного вина загубили не одного, даже и порядочного чиновника; пьянство доходило до безобразия, особенно резко бросавшегося в глаза среди туземцев – или не пьющих вовсе, как мусульмане, или пьющих хотя и много, но весьма редко пьянеющих, как грузины, у которых слова *русси* (русский) и *лоти* (пьяница) были синонимы неразлучаемые... Каково было нравственное влияние подобных представителей русского управления и какое уважение к ним туземцев – представить себе нетрудно, в особенности если прибавить преобладающий элемент взяточничества, опять-таки более среди уездной и особенно полицейской администрации... В последнем отношении за Кавказом многие перецеголяли тех героев, которых Щедрин и его последователи так обильно рисовали в конце пятидесятых годов. Прodelки некоторых уездных начальников и участковых заседателей (становых) долго хранились в памяти кавказских старожилов и теперь показались бы разве анекдотами, более или менее остроумными... Один собирал со всех жителей своего участка по несколько гривен будто бы на приданое одной из великих княжон, выходявшей за германского принца. Теперь память мне изменила, а то можно бы не одну страницу наполнить подобными образчиками. Грустно и обидно, да шила в мешке не утаишь... Что и говорить, немногим отставали в этом отношении от наших артистов и чиновники из туземцев. Но, во-первых, это для наших плохое оправдание, а во-вторых, туземцы как-то ловчее умели делаться со своими единоплеменниками, заглаживали свои проделки то укрывательством и потворством их преступлений, то угощениями, то запанибратством с более влиятельными людьми или маскированным поклонением разным местным обычаям.

Возвращаюсь к тифлисской жизни. Переписывание в палате до ломоты в плече, чтение дома до рези в глазах изо дня в день, деваться некуда; с туземцами-сослуживцами у нас тогда не было ничего общего: у них свои привычки, свои потребности, свои страсти, между прочим, к новостям и сплетням. При каждой встрече двух грузин первый вопрос: *ра-амбавия?* двух армян: *инчь-хабаре?* двух татар: *на-хабар?* (что нового?) – без этого разговор не начинается. Назначение нового главноуправляющего краем генерала Нейдгарта, его строгие распоряжения, преследовавшие злоупотребления, несчастные военные действия 1843 года давали обильную пищу всем *амбавистам*; постоянное место их вечерних сходбищ – кучи бревен на Эриванской площади – представляло часов около семи-восьми разнообразную картину: по всем направлениям стояли кучки в пестрых костюмах, перебирали четки и вполголоса рассказывали новости. Тайны для них не существовало: что бы ни случилось, какое бы ни затевалось дело, стоило выйти на площадь и, зная туземный язык, можно было все узнать, конечно, нередко в искаженном, преувеличенном виде, но большей частью все-таки с долей правды. По поводу этих *хабаров* в Тифлисе часто рассказывались забавные анекдоты. Так, один из чиновников *средней* важности долго ждал обещанного места и был, что называется, на иголках. При встрече с одним знакомым старожилом он передал ему свое неприятное положение, а тот дал ему, не шутя, совет послать доверенное лицо вечером на Эриванскую площадь. И действительно, посланный вечером возвратился с известием, что на площади рассказывали о назначении NN на такое-то место, а на другой день явилась и официальная бумага. Так, вскоре после отъезда графа Чернышева *амбависты* уже толковали, что генерал Головин, главноуправляющий Кавказом, будет сменен – и действительно, месяцев через пять, не больше, сделалось известным назначение генерала Нейдгарта.

Евгений Александрович Головин был назначен главным начальником Кавказа в 1837 году, на место барона Розана, которым император Николай остался недоволен в свой приезд на Кавказ, причем открылись большие злоупотребления некоторых полковых командиров, в том числе флигель-адъютанта князя Дадьяна, женатого на дочери барона Розена. Дадьян был тут же разжалован и отправлен в ссылку, и хотя государь тогда же возложил снятые с Дадьяна флигель-адъютантские аксельбанты на сына Розена, но старика это не спасло, и он вслед за тем был уволен. Считаю нелишним присовокупить, что неправильные действия, за которые Дадьян так тяжело поплатился, были, к сожалению, далеко не редкостью в то время в нашей армии.

Генерал Головин был человек умный, начитанный и, как видно по многим бумагам, лично им писанным, владевший хорошо пером. Ему, однако, кажется, недоставало энергии и самостоятельности, особенно в военных делах. Говорят, что когда выбор покойного государя остановился на нем для должности кавказского главноуправляющего, чуть ли не Чернышев доложил, что Головин все время своего генерал-губернаторства в Варшаве проспал. «Ну, тем лучше, значит, выспался и теперь не будет дремать», – возразил государь. Должно быть, однако, Чернышев не жаловал его и по возвращении с Кавказа в Петербург вскоре устроил его увольнение за неуспешность военных действий. Между тем сам сей всеильный тогда вельможа принес своим приездом ту пользу Кавказу, что несколько хорошеньких туземок, их мужья и родственники получили крупные пенсии за небывалые услуги русскому правительству, да в управлении Черноморского казачьего войска последовали нововведения, оказавшиеся впоследствии негодными; наконец, по его, Чернышева, соображениям, основанным, по-видимому, главнейше на свежих впечатлениях весьма неудачной, чуть не на его глазах совершенной генералом Граббе Ичкеринской экспедиции, ввели новую систему военных действий – «оборонительную», чрезвычайно поднявшую дух горцев и Шамиля, уверявшего их, что русские его боятся. Бездействие наше дало им возможность выполнить давно задуманный план – возмутить всю покорную часть Дагестана; печальным результатом этого был переход Шамиля из оборонительного в наступательное положение, потеря нами десятка укреплений в нагорном Дагестане, истребление всех их гарнизонов, приобретение Шамилем множества орудий, снарядов и прочих запасов, нравственное усиление его на всей обширной враждебной нам территории, что заставило нас опять перейти в наступление и вызвало, наконец, с нашей стороны чрезвычайные усилия, подняло войну до небывалых размеров и послужило поводом падения только что назначенного генерала Нейдгарта, весьма мало в этом повинного, сыгравшего только жалкую роль козла отпущения... Он, впрочем, в короткий период своего управления обратил большое внимание на гражданские дела, на соблюдение экономии и принялся было за чиновников по тогдашнему военному приему, нагнав панику немалую.

### III.

Прошло почти два года со времени моего приезда в Тифлис, и я все еще не нашел возможности вырваться из него. Я уже стал подумывать, не бросить ли вообще гражданскую службу, не представляющую в будущем ничего, кроме того же бесплодного скрипения пером, и не поступить ли юнкером в полк? Я бы так и сделал, если бы не препятствие, преодолеть которое я не имел возможности. Получив казенные прогоны и, кажется, около 200 рублей пособия по приезде в Тифлис, я обязан был за это прослужить три года, если бы уже вздумал выйти раньше, то должен был возратить назад все деньги, переход же в военную службу считался бы все равно нарушением обязательства. Таким образом, оставалось ждать еще целый год, что для нетерпеливого девятнадцатилетнего юноши было очень трудно, или бросить идею о переходе в военную службу. И ведь странно, что мне, уже с детства проявлявшему решительную склонность ко всему военному, до того что девяти-десятилетним мальчиком я жертвовал самым сладким утренним сном, рисковал быть строго наказанным, в три-четыре часа утра бежал за

город, лишь бы хоть часочек посмотреть на учения какого-нибудь батальона, послушать зычную команду молодцеватого майора и тот особенный, шикарный, единозвучный лязг, раздававшийся при прodelывании некоторых ружейных приемов, который составлял гордость истых служаек того времени и наслаждение зрителей, не только мальчиков, но и многих взрослых обоого пола особ, конечно, не из низшего рабочего класса. Итак, мне на пути к удовлетворению этой страстной наклонности ставились препятствия, заставлявшие меня сворачивать на другие, не добровольно избираемые пути. Должно быть, однако, что искреннее, сознательное настойчивое стремление к чему-нибудь в большинстве случаев достигает цели, невзирая на препоны, и я хоть гораздо позже, при совершенно уже других обстоятельствах, попал-таки в военные, но уже не в те, которые наслаждались ружейными приемами, да таких и вообще на Кавказе было весьма мало. Но об этом в своем месте.

Совершенно неожиданный случай познакомил меня с майором князем Михаилом Ивановичем Челокаевым, начальником Тушино-Пшаво-Хевсурского округа, человеком без всякого образования, но по-своему весьма умным. Я просил его о назначении меня на вакантную должность письмоводителя окружного управления, что дало бы мне возможность выбраться наконец из душной городской и канцелярской атмосферы в горы и дикие ущелья, к которым я так давно стремился, да вдобавок увеличило бы мое содержание до 450 рублей вместо 300 рублей в год. Просьба моя была принята, и в двадцатых числах июля 1844 года я оставил надоевший мне Тифлис, пускаясь опять в странствия к неведомым местам, к неизвестным людям. Чтобы избежать палящего зноя, я выехал вечером, ехал всю ночь и к рассвету очутился на реке Иоре. Через эту быструю реку, разливающуюся у села Муганло на несколько рукавов, переезжали вброд при помощи жителей татар, поддерживавших в воде экипажи. Местность эта пользовалась тогда особенной известностью: здесь «потонул» один из почтовых чемоданов с 47 тысячами рублей. Подозревались в этой истории помещик ближайшей деревни полковник князь Андроников и местная полиция, были они впоследствии и арестованы; следственных комиссий было много, а чемодан с деньгами канул в воду. На этот раз поговорка, что «казенное в огне не горит, в воде не тонет», не оправдалась.

Проехав уездный город Сигнах, раскинувшийся в живописном беспорядке у подножия довольно крутой горы, увенчанной старинной крепостью, я поздно к вечеру достиг другого уездного городка Телава, бывшего столицей кахетинских царей и любимым местопребыванием последних двух царей Грузии – Ираклия II и Георгия XIII, передавших свое маленькое царство России для предохранения его от окончательного истребления мусульманами. Город раскинут довольно живописно на высоте, среди садов; вся долина Алазани (Кахетия) как на ладони, и посредине ее виднеется известный всему Кавказу Алавердский собор, постройку коего приписывают кахетинскому царю Кирику еще в IX веке. 14 сентября в нем бывает годовой праздник, к которому стекается множество богомольцев из всей Грузии, но, конечно, «богомольцы» эти не то что толпы лапотников, стремящихся к Киеву, Соловкам и Воронежу – здесь это разряженная, праздничная толпа, желающая повеселиться, предпринимающая *partie de plaisir*, окруженная великолепной природой, роскошными виноградниками, фруктовыми садами, пирующая под чистым сводом южного неба. Тут разгульная жизнь кахетинцев: не только князья, но и простой народ выказываются нараспашку – пьют, поют, пляшут, стреляют, потешаются разными фокусниками, борцами и другими народными забавами, и все это целые сутки без перерыва, только приличия ради с утра заглянут в церковь, наполненную старухами... Ночью особенно хороша картина: кругом версты на три тысячи костров освещают пирующие группы, песни, выстрелы, ржание коней, бляение и мычание скота, рокот тут же бегущей быстрой Алазани, все это в одном гуле, в одном дико-эффектном освещении!

Из Телава, где прекращается почтовое сообщение, я нанял верховых лошадей и отправился в село Матаны, имение князя Челокаева. Дорога пролегла через много деревень, тонущих в зелени: богатая растительность, красивые виды заставляли забывать неудобства езды,

тем более скучной, что проводник не знал ни слова по-русски, и мы обречены были на молчание. Кругом видны были развалины церквей и замков, построенных большей частью на крутых лесистых возвышенностях; в густых кустарниках, издававших приятный аромат, перепархивало множество невиданных мною до того птичек. Встречные грузины на тяжелых арбах, едва влекомых неуклюжими буйволами, прерывали свои дико-заунывные напевы, чтобы произнести обычное: *гамарджобад* – «победа вам», то есть здравствуйте, и слить последнюю букву опять с напевом; попадались женщины верхом и под зонтиками, целые семейства в арбах, закрытых коврами, сопровождаемые своими мужьями и слугами верхом, или ряд навьюченных лошадей и катеров (мулы): на передней сидит верховой, а шесть-семь задних привязаны к хвостам друг за дружкой, оттягиваются, лягаются – очень комичный вид с непривычки.

Переехав вброд быструю речку Ильто, я прибыл в Матаны уже в сумерки. Дом князя Челокаева находился внутри крепости, составлявшей четверугольник с башнями по всем углам, еще хорошо сохранившейся: такие крепости были у всех князей, даже у некоторых дворян, и туда в случае сильных нападений горцев скрывались семейства и имущества всей деревни; только с сороковых годов начали многие уже строить себе новые дома полуевропейской архитектуры, крепости стали приходить в упадок. Горцы продолжали мелкие хищничества, но грозные появления целых полчищ сделались чрезвычайной редкостью (за мое время их было только два; расскажу о них в своем месте). Во дворе крепости была небольшая каменная церковь, к одной из стен был пристроен дом князя, состоявший из нескольких комнат, полуевропейски убранных, большой, во всю длину деревянной галереи, и внизу кухни, службы и прочее. В комнатах длинные нары (тахта), покрытые персидскими коврами, много оружия развешано по стенам, в углах шкафы с посудой, между которой серебряные *азартешии* (вроде разливных ложек), *кулы* (кувшинчики с длинными узенькими горлышками), большие кувшины, чаши, несколько пар огромных турьих рогов, оправленных в серебро с бирюзой, – все напоминало о гомерических попойках.

Радушно принятый хозяином и начальником, я расположился в отведенной мне в нижнем этаже комнате, или правильнее – подвале, в котором, кроме покрытых старыми ковриками двух *тахт* да треногого столика, ничего не было; окно заклеено бумагой, сырость и мрак, общая принадлежность не княжеских азиатских жилищ, царствовали тут; впрочем, в очень жаркое время это было приятно. Множество прислуги, оборванной, грязной, ленивой, суется только по крику князя (то же, что и в большей части русских помещичьих домов недавнего времени), от которой трудно было допроситься кувшина свежей воды, не обещало особых удобств жизни. Первые дни одним из моих единственных развлечений было взбираться на высокие фиговые деревья и, подбирая лучшие зрелые плоды, в то же время любоваться прелестнейшим видом всей долины до Телава. К Челокаеву, славившемуся своим гостеприимством даже между своими, вообще столь гостеприимными соотечественниками, постоянно приезжали и по делам, и в гости соседние князья. Не понимая ни слова, я, однако, с любопытством наблюдал их все приемы, манеры, резко оригинальные и характеристические, носившие, впрочем, сильный отпечаток персиянизма, утонченной лести и десяти тысяч церемоний. Иной, подъезжая к крепости, вдали слезал с коня, поправлял платье, опускал рукава чухи – знак почтения, входил с докладом, с низкими поклонами, на что хозяин, не изменяя обычного полулежащего на тахте положения, произносил «а, а!» и спрашивал: «Ра-амбавия?». Гость садился, как видно было, уже после нескольких приглашений. Другой слезал с коня у самых ворот, входил без доклада. Хозяин вставал, подавал руку, тотчас начинался шумный, живой разговор, сопровождаемый громким смехом и жестами. К приезду третьего, завиденного издали, хозяин выходил на крыльцо или даже за ворота, кричал «а, а! князь NN!» еще сидевшему на лошади гостю, с этим обнимались, провожали в комнату, снимали с него саблю (без сабли, кинжала, а помоложе – без пистолета никто не выезжал); он сейчас посылал человека к княгине, по обычаю не выходявшей из женской половины, доложить о приезде, передать почтение и поклон от

своей семьи; начинались беготня, добавочная стряпня к обеду или ужину; при этом я заметил, что для излюбленных гостей непременно заказывались макароны – европейское нововведение и нечто вроде редкости. Громкий разговор, сопровождаемый непременно раскатами особенно здорового, от всего сердца хохота и энергичной жестикуляцией, не умолкал; иногда хозяин или гость брали *тари* (род балалайки) и, ударяя по металлическим струнам, запевали большей частью персидские мелодии или стихи из известной грузинской поэмы Руставели «Барсова кожа», выше которой, по мнению тогдашних грузин, уж конечно, ни одна литература ничего представить не могла. Затем опять разговоры, рукопожатия и разные жесты – очевидно, уверяли друг друга в неизменной любви и преданности. Таким образом собирались иногда несколько человек; наступало время обеда, накрывали в большой комнате на тахте, вместо скатерти расстилали узкий длинный кусок темного ситца, перед каждым прибором клали большой *шоти* (пресный хлеб) и ставилась бутылка с вином, кувшины про запас оставались в углу.

По приглашению хозяина гости, поджав ноги, садились на той же тахте по старшинству в ряд, и начинался обед с *бозбаши* или *чихиртма* (род супов: первый – из баранины, второй – кислый из кур), каждый крошил себе туда хлеб, и ели большей частью руками, ложки, вилки и ножи оставались без употребления; для отрезания вынимались из ножен кинжалов ножики; аппетит без исключения бывал у всех отличный, ели с особенным присмакиванием, здорово, не жеманясь, даже славно было смотреть. Кто-нибудь из старших гостей или сам хозяин, налив стакан вина, обращался к присутствующим с неизменным приветствием: «Хвала Богу, да дарует победу хозяину дома или князю NN и всем, здесь присутствующим». Это повторялось тотчас всеми. После пили уже, кто когда вздумает, желая здоровья хозяину и почетным гостям. Если же обед принимал характер более шумный и сопровождался доброй попойкой – так большей частью и бывало, – то кого-нибудь поздравляли *толубашем* (глава, законодатель пирушек), и начинались тосты один за другим без перерыва, и за всех присутствующих, и за их семейства, и за отсутствующих, и прочее. Сначала ходили по рукам стаканы, потом чаши, рога или по несколько стаканов разом на тарелке; обнимались, целовались, кричали «алла-верды» (по-татарски – Бог дал), на что отвечалось: «иахшиол» (будь здоров); раскутившись, бросали стаканы и тарелки, пол покрывался черепками, проворно убираемыми прислугой. Лица краснели, разговор превращался в общий шум, начинались хоровые песни, не совсем приятные для слуха, где видно было старание перекричать друг друга, до охрипки. Для подобного пения призывали иногда кое-кого из дворни или из крестьян, который с подобострастием, после множества поклонов, подходил к тахте, становился на колени и затягивал; получив в награду большущий сосуд с вином, он произносил обычное поздравление и, осушив до дна, незаметно, задком, исчезал. Иногда хозяин схватывал бубен, с особенной ловкостью ударял в него в такт *лезгинки* – единственный всеупотребительный танец, и кто помоложе, половчее пускался в пляс, иногда тут же по скатерти между тарелок, выделявая ногами такие дробы и фокусы, и все так ловко, грациозно, что действительно, хоть на сцене показать; все присутствующие хлопали в такт в ладоши, выражая удовольствие покрикиваниями. Кутеж продолжался до сумерек, пирующие расходились: кто на двор – посидеть на свежем воздухе, кто в угол – вздремнуть. Гости оставались большей частью ночевать, подавались сальные свечи в больших старинных медных шандалах, чай, главное достоинство которого – побольше сахару; начинались игры в *нарды* (бросание костей) или в карты: *цхра* и *асунас* – азартные игры; играли на тари, пели уныло-сладострастные персидские мелодии. В десять часов ужин и большей частью опять тот же кутеж до полуночи... Затем гостей укладывали спать по несколько в ряд на тахте; некоторых старших особо, на диванах, а кто помельче отправлялся вниз, ко мне; храп раздавался гигантский; воды за ночь испивались бочки. Но пьяных, не держащихся на ногах или лезущих драться, я никогда не видел – такова уж сила привычки к вину и, должно быть, натура.

Родословная – это альфа и омега для грузина: настоящий человек – только князь хорошей старой фамилии, а дворянин и все остальное – мелочь, обязанная поклоняться и честь

знать; а уж особенно русский, если по занимаемому месту не имел выдающегося значения и силы, трактовался не только как не князь, следовательно, во всяком случае мелкий человек, но еще и как *симбирели* (сибиряк, в презрительном смысле) и как *лотти* (пьянчужка). Много горечи пришлось мне испытать, пока я впоследствии таки довел этих сиятельных, недалеких умом и образованием добряков до вежливого обращения и до сознания, что нет правил без исключения.

Я довольно скоро стал понимать более употребительные фразы, записывая слова по-русски, но пока не достиг более правильного умения говорить по-грузински, всегда показывал вид, что ничего не понимаю, и когда обращались ко мне, я, в свою очередь, обращался к князю Челокаеву или его помощнику Рушеву за переводом. Это чрезвычайно облегчало мне мою задачу: вразумить господ князей, что у нас и не князья люди, что невежливости дурно рекомендуют тех, кто их себе позволяет, и что они, как видно, не имели случая встретить русского, который бы опроверг их ложное понятие обо всей нации. Помню, однажды за обедом, по обыкновению шумным, один князь с нахальной миной обратился ко мне: «Э, руссо, далие» (Э, русский, пей). Я, будто не понимая, спросил у Челокаева: «Что говорит этот господин?» – «Князь предлагает вам пить». – «Скажите ему, пожалуйста, – ответил я, – что, во-первых, по нашим обычаям ко всем обращаются по имени-отчеству, без «ы», что считается невежливостью; во-вторых, что угощать гостей может только хозяин, а не такой же гость; в-третьих, что если бы я хотел пить, то предо мной бутылки и стакан, а подобные напоминания похожи на то, как кучера посвистывают лошадям в воде, приглашая их пить». Князь Челокаев, казалось, смягчил перевод, но последнее сравнение пришлось по вкусу публике, раздались громкий хохот и даже тосты за меня.

Да, бывали неприятные минуты в первое время пребывания в этом новом для меня кругу; подчас с сожалением вспоминались и тифлисская канцелярия, и еще более далекая родина... Но делать было нечего, выход из этого положения был слишком труден. Бросить службу и уехать обратно в Тифлис... но нечем было жить, другого места не скоро можно было добиться, когда число чиновников до того увеличилось, что уже прекратили вызовы, и на каждую вакантную должность считалось по несколько кандидатов. Я решил терпеть до возможности, как ни возмущали меня эти пренебрежительные обращения ко мне тогдашних сиятельных кахетинцев, а еще более постоянные насмешки и остроты над русскими. Между тем сам окружной начальник был довольно вежлив, пускался в откровенности, представлял возможность служебной карьеры в случае ожидавшихся военных действий с его участием, старался заглаживать скверные впечатления, о которых я стал ему намекать, оправдывая своих соотечественников незнанием России, ее обычаев и прочего.

Тяжел был для меня первый год, пока я не овладел вполне грузинским языком и не ознакомился с местными обычаями и нравами. Зато уж и удовлетворял же я себя после насчет большинства тех господ князей, которые отличались особенным злорадством. Впоследствии, чтобы поддерживать свое упорное убеждение, что русский, да еще такой маленький чиновник, должен быть непременно *лотти* и вообще не заслуживающий уважения субъект, они ухватились за мою немецкую фамилию и вероисповедание и не иначе звали меня, как *нэмса* (немец), следовательно, и не удивительно, что не лотти и другой человек... Все мои уверения, что ни фамилия, ни исповедание ничего не значат, что я чисто русский душой и телом, что десяток дрянных чиновников не могут служить представителями семидесятимиллионной нации и прочее, ни к чему не вели. Даже несколько князей, воспитывавшихся в Петербурге, служивших в гвардии, не могли изменить взглядов большинства, опиравшегося на факты и рассказы о различных безобразиях чиновников уездной администрации, равно офицеров и солдат войск, расположенных за Алазанью на кордоне.

Грустно вспоминать об этих временах, к счастью, давно уже минувших, и должно надеяться, безвозвратно. Уже с конца сороковых годов Закавказский край стал исподволь напол-

няться другими людьми, вытесняя негодную закваску прежних безобразных вызовов, а еще через десять лет контингент чиновников, за малыми исключениями, мог считаться относительно внутренних губерний образцовым. Как и по каким причинам произошла такая перемена к лучшему, я постараюсь подробно изложить дальше, когда придется говорить о временах князя Воронцова, замечательного государственного человека, который при некоторых своих недостатках (а кто же их не имеет?) две обширные области России – Новороссийскую и Кавказскую, можно сказать, извлек из хаоса и поставил на путь правильного развития.

#### IV.

Собственно резиденция окружного управления была в селе Тионеты, верст около 25 от Матаны далее к горам, но Челокаев предпочитал жить у себя в деревне, считавшейся тоже в составе округа, и здесь устраивалась походная канцелярия. Однако, прожив некоторое время тут, я заявил желание отправиться, наконец, в Тионеты, чтобы познакомиться ближе с делами, с тамошним помещением и прочим.

Дорога из Кахетии в Тионеты – самая привлекательная поездка; первые семь-восемь верст она идет по ущелью реки Ильто, которую приходится переезжать вброд на этом пространстве до десяти раз: речка то с шумом низвергается с высоты нескольких футов, то пробивается между огромных камней, то сочится под вековыми деревьями, снесенными с корнем бешеными потоками, мгновенно образующимися при сильных дождях; оставив вправо речку, дорога идет по небольшим лесистым возвышенностям и вдруг с одной открывает две прекрасные картины: сзади вся Кахетия, окаймленная слева гигантскими снежными вершинами Главного хребта, справа – лесистым Гомборским хребтом, по коему разбросаны старые крепости и монастыри, посредине бежит Алазань, берега которой усеяны деревьями и виноградниками, потонувшими в синеватой мгле; в центре резко выдающийся белизной Аллавердский собор, и далее едва белеющие домики Телава. А посмотрите вперед: плоскость верст десять в окружности, раскинувшаяся у подножия лесистых гор, прорезанная быстрой, извилистой рекой Иорой и множеством мелких речек, усеянная деревушками, среди которых отличаются величиной Тионеты; вдали снежные макушки Борбало и Чичос-Тави, высочайших точек этой части Главного Кавказского хребта.

Спустившись на эту плоскость, я переехал вброд через Иору у самых Тионет и очутился во дворе полуразвалившейся старой крепости, постройку коей, как и всех древних зданий в Грузии, приписывают царице Тамаре. Над воротами к стене были прибиты деревянными колышками десятка два рук, настоящих, человеческих, и все правые, многие – совсем почти черные, некоторые – только голые кости. Это обычай большинства кавказских горцев: отрезать у убитых врагов кисти правых рук и в виде трофея прибывать к стенам собственных домов или домов своего начальства. На первых порах вид этих зверских трофеев возбуждал во мне сильное отвращение, но я напрасно старался, проходя мимо, не поднимать к ним глаз. Наконец, я привык к этой отвратительной картине. Снять руки со стены князь Челокаев не соглашался, чтобы не оскорбить горцев: они могли бы почесть это знаком неудовольствия к их подвигам в деле истребления хищнических шаек, а между тем это следовало всеми мерами поощрять. Внутри развалин стояли одинокая хижина, подобие малороссийских крестьянских хат, с двумя заклеенными бумагой окошечками – это была канцелярия, да две уцелевшие башни: в одной была устроена комната, где помещался окружной начальник, приезжая сюда, в другой кое-как мостились четыре донских казака – единственные русские люди в округе. Перспектива жизни при таких условиях, да вдобавок без книг, которых я, с трудом и долго ожидая, едва мог добиться из Тифлиса, признаться, была не блистательна: ни товарищей, ни общества, среди народа, не понимающего по-русски, и при скверной материальной обстановке... Но я решился выдержать характер. Время проходило среди служебных занятий, то есть отписывания бумаг,

посылавшихся к подписи в Матаны, в прогулках по берегу Иоры и смотреии на ловких рыболовов, закидывавших искусно свои сети и вытаскивавших всегда десятки прекрасной форели и других вкусных рыбок, да в изучении грузинского языка. С каждым днем я стал более и более убеждаться, что жить среди этого народа и придерживаться своих европейских обычаев невозможно. Между сотнями людей, не покидающих оружия, ходить в статском сюртучке и неудобно, и смешно; постоянно разъезжать верхом по гористым, неудобным дорогам, переправляться вброд через быстрые реки, ждать нападения хищнических шаек близких соседей – непокорных горцев в нашем костюме, без оружия опять и неудобно, и даже как-то щекотливо. Я начал с того, что нарядился в черкесский костюм, самый удобный и красивый, получивший право гражданства на всем Кавказе, обзавелся собственной верховой лошадью, оружием и всеми принадлежностями коренного джигита (удальца-наездника), да с большим успехом и довольно скоро усовершенствовался в верховой езде. Одно это уже подняло меня в глазах жителей, которые не могли никогда без смеху видеть чиновников, уродливо болтавшихся на лошадях, державшихся обеими руками за гриву и действительно изображавших всей своей наружностью весьма жалкие комические фигуры. Повозочного же сообщения здесь, как и в большинстве мест за Кавказом, не было, и всяк должен был садиться верхом на плохо выезженных, горячих горских лошадей. Через год я стал свободно объясняться по-грузински, а выучившись после еще читать и писать, усовершенствовался на удивление всем грузинам. Выговор – это неодолимое препятствие для всех европейцев – дался мне, однако, настолько, что даже трудно было угадать во мне не грузина. Постоянной наблюдательностью, расспросами, сношениями с туземцами я узнал в подробности их нравы, образ жизни, взгляды и наклонности, и впоследствии в обществе туземцы почти забывали, что я русский, однако перестали при мне пускаться в ругательства и насмешки. При этих условиях и жизнь моя стала разнообразнее и легче; я стал находить в этой воинственной, полукочевой жизни своего рода поэзию и, наконец, пристрастился к ней до того, что изменить ей и работаться со средой, у которой я приобрел уважение, казалось мне невозможным. Те же князья, обращение которых так раздражало меня год назад, наперерыв стали выказывать мне свое дружеское расположение, извиняясь за прошлое и ссылаясь на свои вкоренившиеся убеждения, что дворянин ни в чем не может равняться с князем и пользоваться одинаковым вниманием. И действительно, у них дворяне, большей частью бедняки, составляли низший класс, а в Имеретии до недавнего еще времени были *крепостные* дворяне, законно признанные и утвержденные нашим правительством...

Прежде чем продолжать рассказ, считаю нужным сказать несколько слов об официальном значении Тушино-Пшаво-Хевсурского округа, его отношениях к высшим властям и прочем. Округ заключал в себе значительное пространство Главного Кавказского хребта по обоим его склонам, населенное в диких, труднодоступных ущельях тремя племенами, по которым и назван округ; кроме того, Тионетскую долину в верхнем течении Иоры с грузинским населением и три деревни в Кахетии, ближе к округу лежащие, причисленные к нему будто бы по большему удобству управления, а в сущности, по ловко проведенному ходатайству Челокаева, желавшего свое имение – село Матаны и село Ахметы иметь в своем же официальном ведении, а также для того, чтобы над князьями Челокаевыми, его дальними родственниками, которым Ахметы принадлежат, иметь влияние, играть роль старшего и иметь возможность властью местного начальника оказывать или не оказывать свое расположение, одним словом, удовлетворять своему непомерному тщеславно.

Округ, входя в состав Тифлисской губернии, подчинялся губернатору и всем губернским учреждениям, но так как он в горных своих пределах прилегал к некоторым непокорным обществам, производившим мелкими партиями хищнические нападения и в округе, и проходя через него в ближайших местностях Кахетии, то в отношении обороны и других этого рода дел округ был подчинен и военному начальству Лезгинской кордонной линии. Сношения с гражданскими управлениями ограничивались пустейшими форменными переписками и так

называемыми срочными донесениями с цифрами наобум, а чтобы не связывать себя излишним контролем, Челокаев ловко обходил тифлисское начальство, которому он сумел отуманивать глаза исключительностью положения своего округа, находящегося в непрерывной будто бы опасности и потому трудноподводимого под общие правила и законы. Так там и махнули на этот округ рукой. У военного же начальства, не вмешивавшегося во внутреннее управление, гораздо легче было приобрести расположение, выставляя последствием своей благоразумной деятельности незначительность хищнических нападений, тогда как это просто зависело от свойства самой местности, да и жители, особенно тушины, ближайšie к неприятельскому населению, были люди воинственные, хорошо вооруженные, нередко истребляли целые шайки и сами хаживали на такой же промысел в отместку лезгинам. Таким образом, округ управлялся более по старинным преданиям, патриархально, или просто говоря – вполне по личному произволу окружного начальника, соединявшего в себе и судью, и администратора. Высшее начальство никогда сюда не заглядывало, жалоб до него не доходило, потому что население со времен грузинских царей привыкло видеть в своем правителе полновластного человека, на которого некому жаловаться. Сам князь Челокаев был человек ловкий, действовавший по сложившимся издавна понятиям, и хотя сознавал, что по смыслу русского закона он злоупотребляет властью, но не придавал этому особого значения, видя кругом себя не лучший ход дел и большей частью совершенную безнаказанность. Характер у него был трудноопределимый, загадочный. То откровенный добряк, простота сердечная, то скрытен, хитер и жесток, подчас до свирепости, то щедр, юношески расточителен, готов с беспечностью не по летам на всякую глупость, то ужасно скуп, угрюм, груб; за обедом гость его, какой-нибудь князь Отар или Давид, друг сердечный, излюбленный, которому он клянется (да ведь как клянется: и гробом отца, и счастьем детей) в самой душевной привязанности, в готовности пожертвовать всем, только прикажи, а через час после отъезда этого гостя он перед другим, все это слышавшим гостем же или передо мной пустится ругать *друга* на чем свет стоит: зовет его своим заклятым врагом, и «пусть у меня рука отсохнет, пусть все дети погибнут, если я не заставлю его ползать предо мною». Явятся какие-нибудь просители, особенно из пшавцев, больших охотников до сутяжества, слушает он их со вниманием, очень ласково объясняет, расспрашивает, и когда те вполне уверены в отличном исходе своего дела, он вдруг вскочит, начнет площадно ругать, колотить по щекам, прикажет гнать нагайками из крепости или совсем рассвирепееет, велит арестовать, набить кандалы. А то наоборот: не успеет проситель рот разинуть, как уж на него сыплются ругань, удары, приказания сечь, гнать, но не прошло часу, несчастного просителя разыскивают по всей деревне, ведут ни живого ни мертвого пред грозные очи начальника, а тот как ни в чем не бывало начинает ему говорить любезности, обещает устроить его дело, велит подать вина и угостить, даже иного с собой посадит за стол. Изучал я его долго, и все же он оставался для меня какой-то загадкой; думаю, однако, что выходы с просителями были напускные запугивания, чтобы боялись, беспрекословно покорялись всем требованиям, заявлявшимся без особых церемоний, впрочем, большей частью через кого-нибудь постороннего, например священника или какого-нибудь старика из тионетских жителей, в виде доброго совета просителю.

Вследствие подчиненности военному начальству, с которым происходили довольно деятельные сношения, я невольно стал знакомиться как с военно-распорядительными порядками, так частью с ходом дела, общими предположениями и мерами к обороне края и действиями против неприятеля, даже вне пределов округа. Лезгинская линия вмещала в себя значительное пространство от города Нухи до крайних пределов нашего округа в верховьях реки Аргуна; оконечности этой линии считались менее подверженными вторжениям неприятеля, а центр от кахетинских селений Шильда, Енисели, Кварели до крепости Закаталы (местопребывания главного начальника линии) – более всего опасными. Между Закаталами и Нухой находилось владение султана илисуйского Даниель-бека, генерал-майора русской службы, самовластного управителя своего ханства, человека, считавшегося преданным нашему правительству. У него

было несколько аулов и по ту сторону хребта, в верхнем течении реки Сакура, при содействии которых он обеспечивал наши сообщения с лежащими ниже по этой реке покорными нам обществами и охранял не только свое владение, но и все окрестности и, что весьма важно, почтовый путь от Тифлиса к Нухе от всяких неприятельских нападений. Хотя мусульманин, но человек богатый и влиятельный своим аристократическим происхождением, он не допускал фанатически-религиозным учениям Шамиля и его приверженцев о кровавой вражде к русским распространяться между соседним с Кахетией мусульманским населением. Все это обеспечивало нас с этой стороны настолько, что военные средства Лезгинской линии ограничивались тремя линейными батальонами, несколькими сотнями донских казаков да незначительной кордонной стражей, выставяемой кахетинцами. Никаких военных действий с этой стороны не было; все военные средства и усилия могли быть обращены в Дагестан и Чечню, где был главный театр шамилевского поприща.

Казалось бы, чего при тогдашних обстоятельствах и желать больше? Отчего бы такому Даниель-беку не давать хотя каждый год по звезде, если ему это нравилось, и не оказывать ему ничего, не стоящего любезного внимания? Однако нет, по какому-то весьма незначительному поводу (до истины мне никогда не удалось добраться, а толкований было много, и все различные) начались *пререкания* закатальского начальства с султаном, придирки, канцелярские грубости, отказы в пустых просьбах, донесения на него в Тифлис, оттуда внушения и угрозы, доведшие оскорбленного, самолюбивого и избалованного привычкой самовластия восточного владетельного деспота до бунта. Он поднял все свое владение, укрепился в ущелье впереди своей резиденции Илису, казнил бывшего при нем переводчиком чиновника из армян, которого подозревал в тайных против него сношениях с начальством, и сообщил начальнику линии генерал-майору Шварцу, что он отныне ни с ним, ни вообще с русскими властями ничего общего иметь не намерен и что всякую попытку принудить его к повиновению встретит с оружием в руках, надеясь на Аллаха, на свою правоту и на поддержку всех горцев...

Власти переполошились, поняли, что дело нешуточное, что пламя возмущения может мигом разлиться по всем мусульманским провинциям за Кавказом, и без того едва удерживавшим затаенную к нам вражду, особенно в то время, когда все войска с самим главным начальником края были далеко в горах Дагестана для действий против Шамиля, и решились принять энергичные меры. Обвинять за это, конечно, нельзя ввиду страшных последствий, какие могли произойти при замедлении, хотя, с другой стороны, ловко обставленная и умно проведенная попытка к примирению, минуя закатальское начальство, может быть, имела бы менее кровавые последствия.

В несколько дней перед возмущившимся султаном явился отряд, в который стянули, начиная от Тифлиса, все, что из войск могли собрать, и штурм, дружное «ура!», русская дисциплинированная храбрость победили нестройную, хотя и воинственно-ловкую толпу. Даниель-бек, заранее отославший семейство и все свое имущество в горы, едва успел спастись с несколькими приверженцами и явился покорным беглецом к Шамилю, которого до тех пор третировал с высокомерием.

Таким образом, грозившая в случае распространения возмущения опасность чисто военным способом была устранена, но зато печальным последствиям этого происшествия суждено было выразиться вскоре совершенно в другом виде.

Шамиль назначил местопребыванием Даниель-беку аул Ириб в одном из обществ соседних с Лезгинской кордонной линией, дал ему власть наиба (правителя) и поручил открыть против нас враждебные действия, размеры и успех которых должны были служить мериллом его приверженности делу мюридизма. С тех пор эта часть Закавказского края, дотоле спокойная и, как выше упомянуто, подвергавшаяся лишь мелким хищничествам, обратилась в новый кровавый театр военных действий, вызвала необходимость усиления военных средств, всяких денежных расходов и стоила многих жертв. Конечно, ни генерал Шварц, ни разные другие

военные люди об этом не жалели: для них настала пора военных реляций, громких подвигов, щедрых наград и других выгод, но с точки зрения выгод общих государственных и частных ближайшего народонаселения это было весьма печально... Мне, к сожалению, еще не раз придется упоминать о таких, не знаю как их и назвать, несчастных, преступных или неумышленно-безрассудных деяниях наших властей, имевших последствием, с одной стороны, тяжкие для государства и общей пользы жертвы, с другой – отличия, награды и военную славу...

Вследствие вышеописанного события заботы об «обеспечении наших пределов от вторжения непокорных горцев» (как выражались в официальных бумагах) усилились и выражались в более частых и быстрых сношениях начальства Лезгинской линии со всеми местными управлениями, в сборах милиций, в движениях в горы «для отвлечения неприятеля, для его устрашения, наказания» и прочем. Все это отозвалось и на Тушино-Пшаво-Хевсурском округе и все более и более втягивало меня в сферу военной деятельности, к которой я так давно, так искренно и напрасно стремился. Судьба!

В том же 1844 году, вскоре после измены и бегства илисуйского султана, уже явились опасения усиленных враждебных действий соседних горцев, и потому предписано было собрать из округа более тысячи человек конной и пешей милиции и расположиться с ней на левом берегу Алазани, на Алванском поле, для того чтобы быть готовыми спешить на помощь угрожаемому пункту и вместе с тем заставить горцев опасаться вторжения нашего к ним. Распоряжения для исполнения этого предписания должны были делаться, как и подобает в военном деле, с возможной быстротой. Поэтому окружной начальник кроме своих двух помощников, малограмотных грузинских князей, возложил часть дела и на меня, хотя моя специальность была собственно канцелярия. И вот я в первый раз очутился в роли распорядителя, отчасти начальствующего лица. Я был в восторге, энергию выказал блистательную, не жалел ни себя, ни лошади и скорее прочих явился на назначенное место с вооруженной толпой в несколько сотен человек, обращавшихся *ко мне* с просьбами, недоразумениями и прочим. Для двадцатилетнего юноши с пылкой фантазией это было каким-то торжеством: мне уже грезились битвы, геройские подвиги, слава, военные награды, целое море сильных ощущений... И ведь много, много раз еще повторялись в моей долголетней кавказской службе такие восторженные минуты, и с какой же улыбкой вспоминается о них теперь, когда седина пробилась в бороду, кровь плохо греет и вместо поэзии давно наступила пора равнодушия и критики!..

Вся собранная милиция расположилась на Алванском поле, среди живущих здесь зимой тушин (летом они откочевывают в горы), в ожидании дальнейших распоряжений. Стоянка эта дала мне некоторые первоначальные понятия о жителях округа. Резко отличающиеся друг от друга тушины, пшавы и хевсуры проводили все время в своих национальных воинственных забавах. Скачки, стрельба в цель, фехтование хевсур, вооруженных мечами и щитами, продолжались целые дни, ночью вокруг костров раздавались громкие и заунывные песни, пляски, напоминавшие диких индейцев Америки; все это так поражало меня своей новизной и оригинальностью, что я проводил целые часы, смотря на этих полудиких людей, о которых в России едва ли кто и слышал, и тогда же задался мыслью узнать и изучить их поближе, чтобы при случае познакомить с ними читающую часть общества.

Между тем прошло около двух недель, продовольствие, взятое милиционерами из своих домов, стало подходить к концу, всякие забавы стали надоедать; наконец, на несколько запросных донесений, получился приказ – распустить людей по домам. Мечтам о военных подвигах не суждено было пока осуществиться, однако я не унывал, запас надежды был еще слишком обилен, и так, вдруг, он не мог истощиться...

## V.

Возвратившись с Алванского поля, я в первый раз присутствовал при сборе и давке винограда. Село Ахметы представляет целый лес виноградных садов, оно было необыкновенно оживленно, сотни рассеянных по садам работников, громко распевая, двигались постоянно взад и вперед: кто работал ножом, срезая кисти, кто накладывал их в большие плетеные корзины или ставил последние на арбы и отвозил в *марань* (строение, где давят и хранят вино), в которой несколько человек обнаженными до колен ногами давили виноград, и мутная струя сбегала по небольшим корытам в кувшины, врытые в землю. Величина некоторых кувшинов, большей частью выделяемых в Имеретии, почти баснословна: они вмещают до двух тысяч больших бутылок. Мне рассказывали по этому поводу будто бы достоверное происшествие: однажды в селе Кварели солдат линейного батальона забрался ночью в марань, открыл кувшин, лег на землю и начал пить вино, но, по-видимому, отуманенный газами, осунулся и *утонул в кувшине*, где на другое утро нашли его по плававшей на поверхности фуражке!..

Впрочем, в этом ничего удивительного нет, если принять в соображение, что когда кувшины перед напусканьем нового вина моют, то в них ставят лестницы, туда спускается человек с фонарем, как в погреб, и трет венником, а голос его раздается каким-то глухим подземным эхом. Для этой работы есть даже особые специалисты – жители Военно-Грузинской дороги, гудомакары, они же привозят с собой и шиферные плиты, употребляемые для накрывания кувшинов. Молодое вино (маджари) слабо, сладковато и мутно, но в феврале – марте оно уже окрепло, очистилось и бывает таких качеств, что не уступит многим прославленным европейским винам. Красное или почти черное гуще, крепче, а белое, почти померанцевого цвета, слабее, но с превосходным букетом соединяет прекрасный вкус. Достоинство этих вин – совершенная безвредность: сколько ни выпить – головной боли не чувствуешь, и грузины, пьющие невероятное количество вина, не слышали о подагре. Зато кахетинское вино не выдерживает долгого хранения и киснет, но вернее, что это происходит от дурной, патриархальной системы выделки. Большой частью вино развозится в бурдюках, смазанных внутри нефтью, почему и принимает не совсем приятный, вязущий вкус; в последнее время, однако, стало уже развиваться употребление бочек и бутылок, и в Тифлисе хорошее вино в продаже без нефтяного вкуса.

По окончании сбора винограда в Кахетии настает самое веселое время: князья начинают разъезжать друг к другу и, собираясь целыми париями, гостят по несколько дней у своих знакомых; к тому же времени устраиваются большей частью свадьбы, празднуемые с большой пышностью.

Мы с князем Челокаевым тоже сделали поездку через села Артаны и Шильды в Кварели, где была часть управления Лезгинской линией под начальством полковника Маркова, весьма благоволившего к моему начальнику. Здесь, устроив кое-какие свои служебные дела и отношения, мы пробыли несколько дней, пируя у князей Чавчавадзе поочередно. Принимали нас благодаря значению и родственным связям Челокаева везде отлично, и вся поездка, дней десять, была рядом кутежей, о которых трудно дать понятие тем, кто сам их не видел. И питье, и еда, и пение – все в размерах героев Илиады. На обратном пути в селе Лалискури мы заезжали к семейству одного незадолго перед тем убитого в Дагестане офицера, тоже князя Челокаева, и здесь мой начальник как дальний родственник покойного исполнил обряд «сожаления»: церемония заключалась в том, что, войдя в комнату, где на полу в черных одеждах сидели вдова и сестра покойного, Челокаев начал выражать сожаление о несчастье, постигшем не только родных, но и всю Грузию, потерявшую такого доблестного князя, а они тотчас пустились в слезы; он тоже, закрывшись на минутку шапкой, сделал вид, что плачет, затем советовал не предаваться отчаянию и прочее; слезы мгновенно осушились, вдова стала расспрашивать о

семействе, передавала поклоны, после чего Челокаев откланялся, и мы уехали. Этот, как и многие подобные ему обычаи, совершаются повсеместно на Кавказе с большим педантизмом.

К числу любимых развлечений кахетинских князей принадлежит ястребиная охота за фазанами. Ястреба ловятся особыми силками, к которым для приманки привязывают живую курицу. Попавшемуся ястребу *зашиивают* (буквально) глаза ниткой, на ноги надевают небольшие медные бубенчики, пришитые к кожаным ноговичкам, и сажают на руку; так охотник держит ястреба целую ночь, постоянно его поглаживая, посвистывая, чтобы приучить к звуку бубенцов и человеческого голоса; кормят его сырым моченым мясом и для пищеварения дают *проглатывать кусочек холста* (?). На третью ночь ястребу раскрывают глаза: сначала он боязливо оглядывается, срывается с руки, повисает на шнурках, опять садится на руку, затем успокоится; целый день не дают ему есть, сажают в нескольких шагах от себя, манят мясом, цмокают, присвистывают, пока он сам не прилетит на руку. Подобным образом он в неделю делается ручным и после, отлетев иногда на две версты, опять возвращается к хозяину.

Фазаны водятся вообще в колючих кустарниках, густых бурьянах, обилующих разными ягодами. В первый день охоты, лишь только ястреб поймает фазана, добычу отдают ему и прекращают охоту. На следующий день охота ведется уже как следует: князь верхом с ястребом на руке, несколько человек с легавыми собаками входят в чашу и разными криками, визжанием, лаем спугивают фазана; ястреб стрелой пускается за ним, и схваченный когтями бедняга падает наземь, где его подбегающие люди и отнимают у ястреба, большей частью живым; иногда же фазан, не достигнутый еще врагом, падает в кусты, куда ястреб, боящийся колючек и чащи, не смеет за ним забраться, тогда этот взбирается на ближайшее к месту дерево, не спуская своих острых глаз с жертвы, и начинает звенеть бубенцами, махать крыльями, пока обратит внимание охотников, которые тут же и вытащат омертвевшего от испуга фазана или же спугнут его, и в другой раз уже редко удается ему уйти от страшных когтей. Во время ястребиной охоты никогда не стреляют, считая это вредным для ястреба.

После целого ряда различных удовольствий в веселом обществе князей пора было возвратиться, наконец, и к делам. Я оставил Кахетию, облитую золотистыми лучами осеннего солнца, и только грозный ряд великанов, совершенно одетых в снег, напоминал, что существует зима, а приехав в Тионеты, застал совершенно русскую зиму: все было покрыто снегом, лед сковал почти до самой середины быструю Иору, скрипучие арбы заменились полозьями.

По приглашению одного из жителей я был у него на свадьбе. Невеста была привезена из Ахмет в сопровождении жениха и нескольких родственников, подкутивших порядком, стрельявших из ружей, распевавших всю дорогу во все горло и потчевавших всех встречных вином из бурдючков, привязанных у каждого за седлом. Из церкви после венчания жених и невеста шли рядом, держась за концы цветного платка; их окружали с восковыми свечами в руках, песни и стрельба не прекращались; у молодых были на головах венки, надетые в церкви при венчании. При входе в саклю их встретили родители, приглашая войти и занять места, но там, где должны были сесть молодые (по-грузински *мэнэ* и *дэдопали*, то есть царь и царица), лежал ничком какой-то мальчик и, несмотря на просьбы, брань, удары плетью, не хотел вставать, пока ему не дали денег и яблок, тогда он поднялся при громком смехе присутствовавших. То же, говорили, бывает и в спальне молодых: какая-нибудь служанка разляжется поперек кровати и без платы не встанет. Возле невесты уселась рядом старуха, обязанность коей состояла в том, чтобы весь вечер постоянно поправлять на молодой то покрывало, то платочек, то ленточку, хотя бы все было в отличном порядке, и по временам что-то нашептывать ей на ухо. Перед молодыми ставится поднос, на который все, подходя с поздравлениями, бросают деньги (у высших сословий в пользу прислуги). Невеста с опущенными глазами, как истукан, просиживала эти несколько часов без движения, без слов. Гости, усевшись на другой стороне, после благословения священника приступали к ужину, принимавшему под конец самый шумный характер: пение, крики, пальба из пистолетов, плясание лезгинки, пока не расходились или развозились

по домам. На другое утро, если все было благополучно и жених был весел, сходились гости, их угощали *полустаки* (тесто с медом и орехами), начинались поздравления, кутили настаивали, чтобы молодая вышла и непременно проплясала лезгинку. Если она была в силах это исполнить, ее расхваливали, пророчили мужу счастливое супружество. В случае же неблагоприятного окончания свадьбы, что случается, впрочем, весьма редко, полустаки не разносили, родственники расхаживали с унылым видом, а гости торопились пускаться в ход остроуты и сплетни.

Сам обряд венчания совершается так же, как вообще у православных, только при входе молодых в церковь у дверей дружки держат две скрещенные сабли, под которыми они должны пройти, те же сабли кладут молодым под ноги у наложия, и кто первый наступит на саблю, будет, по поверью, первенствовать в доме, а у кого из молодых прежде потухнет восковая свеча, тот прежде и умрет.

В январе 1845 года, после восемнадцати месяцев отсутствия, я собрался съездить в Тифлис, выбрав кратчайшую дорогу, о которой прежде вовсе не знал; оказалось, что по ней, конечно только верхом, не более каких-нибудь 75 верст, между тем как кругом через Телав до Тифлиса более 200. В Тифлисе я застал тьму *амбавий* по случаю назначения графа Воронцова наместником кавказским. Делались большие приготовления для его встречи; все как-то инстинктивно понимали, что нужно ожидать общих улучшений и разных перемен. Слава графа Михаила Семеновича как устроителя Одессы и Новороссийского края предшествовала ему и пронеслась по всем уголкам Кавказа<sup>2</sup>.

Все эти восторги и толки не могли быть приятны старику Нейдгарту, и он поторопился выехать из края. Два года его главного управления Кавказом были рядом неудач, за которые трудно его обвинять. Не успел он приехать, как летом 1843 года Шамиль в течение короткого времени истребил в буквальном значении этого слова отборный батальон Апшеронского полка, следовавший в горы для подкрепления гарнизонов укреплений (спаслись два солдата, принесшие печальную весть), взял десять наших укреплений, перебил и наполовину полонил их гарнизоны, приобрел большой запас всяких снарядов и артиллерии, которой у него до того почти не было. Это были первые примеры взятия горцами наших укреплений и истребления целых частей. На восточном берегу Черного моря случались атаки укреплений, но они падали разве таким геройским образом, как Михайловское в 1840 году, которое было взорвано солдатом Архипом Осиповым вместе с проникнувшими в него горцами. А тут разом десять укреплений взято горцами, «этой ободранной аравой», которую побить считалось до тех времен делом само собой разумеющимся.

И ведь большинство гарнизонов защищались геройски и падали уже только за совершенным истощением сил, за недостатком патронов, продовольствия или воды (одно только маленькое укрепление Ахальчи, в котором было человек 40 гарнизона, сдано без выстрела прапорщиком Тифлисского егерского полка Залетовым, явившимся, как рассказывали, к Шамилю по форме, с рапортом, как являются к инспектирующему начальнику). Эти печальные события сильно подействовали на дух войск и решимость частных начальников, в большинстве отличившихся этим полезным в малой войне качеством. Выступивший было из Темир-Хан-

---

<sup>2</sup> В Тифлисе было тогда распространено рукописное описание обеда, данного графу Воронцову тузами Английского клуба в Петербурге по случаю его нового назначения. Между прочим, там приводилась речь известного инвалида-ветерана Скобелева, из которой я до сих пор еще помню следующие, приблизительно так сказанные слова: «Если бы я оставшимися у меня двумя пальцами единственной руки мог поднять пушку, то сделал бы ей на караул перед графом Михаилом Семеновичем, чтобы отдать честь славному сопернику великого Наполеона и не менее славному государственному мужу, устроителю Одессы» (Скобелев со своим Рязанским пехотным полком был в колонне Воронцова, выдержавшего бой против Наполеона под Краоном в 1814 году). Затем рассказывалось, что подавали треххаршинных (?) стерлядей и что обед стоил 10 тысяч рублей; кажется, еще сообщалось, что баллотировавшийся в то же время в члены клуба военный министр граф Чернышев был будто бы забаллотирован. А нужно сказать, что он с графом Воронцовым был не в приятных отношениях, видя в нем не раболепного подчиненного, каковыми были все остальные генералы (за исключением, конечно, Паскевича), а соперника и вообще слишком самостоятельного человека.

Шуры под командой генерала Гурко небольшой, но по тогдашним кавказским обстоятельствам считавшийся самостоятельным отряд из трех батальонов при четырех орудиях и сотни казаков на выручку осажденного горцами укрепления Гергебиль поднялся на высоты, с которых видно было едва еще державшееся укрепление и ободренное видом отряда решившееся даже на отчаянную, бесполезную вылазку; отряд простоял около суток и отступил, Гурко не решился спускаться в ущелье на выручку гибнущему гарнизону, опасаясь восстания жителей в своем тылу, что могло повести к его окончательному уничтожению и, во всяком случае, к всеобщему восстанию части туземцев, остававшихся еще хоть для вида покорными, а вместе с тем и к падению Темир-Хан-Шуры, в которой остались защитниками уже только вооруженные писари, музыканты, инвалиды... Может быть, человек более решительный, чем недавно прибывший на Кавказ Гурко, без всяких долгих рассуждений попытал бы счастья и, спустившись, атаковал бы горцев: в случае удачи он не только выручил бы осажденное укрепление, но спас бы весь Дагестан от всех последовавших катастроф и покрыл бы себя и свой отряд вполне заслуженной славой, но в случае неудачи, оставалось погибнуть вместе с остатками гарнизона, безо всякой надежды на помощь, и тогда общее восстание, падение Шуры, изгнание нас из большого Дагестанского района были бы неизбежны. Таким образом, благоразумие требовало отступления, и нельзя этого не одобрить. Но гораздо лучше было вовсе не идти, не показывать неприятелю своей слабости и своим осажденным товарищам такого малодушия. Это отступление отряда в виду гибнущего укрепления еще усилило упадок духа в войсках и навело решительное уныние на всех, считавших прежде за удовольствие встречу с неприятелем и об отступлении никогда не думавших. Горцы же, напротив, сделались самоуверенными, выросли, так сказать, в собственных глазах, доверие к Шамилю укрепилось, устранив последних скептиков, и надежды на полный успех, то есть изгнание русских с Кавказа, оживились...

Во всех этих событиях генерал Нейдгарт едва ли виноват; уж скорее, его предместник Головин, не принявший заранее никаких мер против возможности их осуществления, хотя ему годом ранее доносил и настойчиво требовал подкреплений начальствовавший в Темир-Хан-Шуре генерал-майор Ключки фон Клугенау. Затем, в 1844 году, в Петербурге убедились, что «оборонительная» система, введенная Чернышевым, никуда не годится, а нужны решительные действия, двинули на Кавказ целый пятый корпус и приказали Нейдгарту разгромить шамилевские орды. Но приказание, в самой сущности своей малоопределенное, в руках малознаемого с краем старого генерала, не решившегося взять на себя ответственность за потери людей без видимой пользы, вместо эффектного исполнения послужило новым фиаско не только для самого Нейдгарта, но и для всех войск. Огромный и редко на Кавказе виданный отряд – тысяч в 35, с массой артиллерии, с двумя корпусными командирами (Нейдгарт и Лидерс) и множеством генералов, съехавшихся за звездами со всех концов, простоял на Буртунайских высотах довольно долго, в виду Шамиля и его значительных полчищ тысяч в 12–15; оба стана разделял лесистый, глубокий Теренгульский овраг; у нас совещались, раздумывали, поедали дорого обошедшиеся казне запасы, а Шамиль устраивал своим толпам что-то вроде церемониальных маршей, как бы вызывая нас на ратоборство... Кончилось тем, что мы ушли... Как отразилось это на обоих противниках, понять легко всякому... Тогдашняя система, не допускавшая рассуждений, лишила способности инициативы даже высших генералов; не удивительно, что, приезжая прямо с плац-парадов, и лучшие из них каждый свой шаг хотели основывать на точном приказании свыше, на применении к взглядам тех, от кого зависело их «быть или не быть». К старым кавказцам, более решительным, самостоятельным, эти генералы и сам Петербург относились почти враждебно, и кавказские войска считались последними в России...

Однако я далеко уклонился в сторону от моих личных воспоминаний и вдаюсь в рассказы о делах, в которых я участником не был. О них должна подробно говорить история Кавказской войны или вообще специально этому предмету посвященные статьи, а так, в летучей заметке, ничего не скажешь ясного для незнакомых с кавказскими событиями читателей.

Итак, состоялось назначение графа Воронцова наместником Кавказа, главнокомандующим армией с правами, равными правам князя Паскевича в Варшаве. На всех перекрестках в Тифлисе только и речи было об этом, все слои общества ожидали для себя всего лучшего. Армяне – развития торговли и благосостояния, чиновники – высших окладов, новых штатов, местная аристократия – разных почетов и льгот, военные – усиленных военных действий и щедрых наград, дамы – блистательных балов и приемов у графини Воронцовой; одним словом, все без исключения были радостно настроены, и, как редкое исключение в нашем мире, в этот раз никто не ошибся, почти всем надеждам суждено было сбыться.

Проведя несколько дней в Тифлисе, показавшемся мне после гор, ущелий и аулов роскошной столицей, я поехал назад еще по иной, очень живописной дороге, ближайшей к Кахетии, через Мухровань и Гомборы – штабы артиллерии, и ночевал в кахетинском селении Руиспири, у поселившегося там немца из Кексгольма Ленца, занимавшегося выделкой из местного вина шампанского, бишофа и прочего. Известие о графе Воронцове и его очень обрадовало, он понял, что в известном покровителе всяких промышленных предприятий найдет поддержку и своему делу – и этот не ошибся. Хотя уже в сорок седьмом году холера поместила бедного Ленца в число своих жертв, однако он успел обратить внимание нового наместника на свое предприятие, и сын его чуть не до сих пор продолжает в Тифлисе торговлю, хотя ни *Bischof*, ни шампанское не создали нового вида торговли вином.

Приехав в Матаны, я застал свое начальство, по обыкновению, со множеством гостей и *сазандари* (странствующие музыканты) за шумным обедом. Весть о наместнике произвела необыкновенный эффект, и немедленно были осушены тосты за его здоровье, хотя из присутствовавших едва ли кто мог ясно дать отчет в причинах восторга – так уж, должно быть инстинктивно, большинство радовалось.

На другой день я уехал в Тионеты, где застал трех лезгин-дзарцев, шляющихся по всем грузинским деревням, восхищая народ своим искусством плясать на канате. И действительно, их можно смотреть даже после лучших европейских акробатов. Лезгин, парень лет 25, в своем обыкновенном костюме, в кошах (туфли с высокими железными каблуками), в которых трудно по комнате пройти без особенной привычки, взбирается на канат, натянутый туго на высоте двух-трех саженей; у него на голове кувшин с водой, на нем тарелка, на ней стакан, на стакане бутылка, к ногам привязаны два обнаженных кинжала, не картонные, а настоящие, отточенные, острием вверх, глаза завязаны платком – и в таком виде под звуки зурны и бубна он слегка подпрыгивает и делает телодвижения в такт без всякого шеста, без натирания подошвы мелом и вообще без всяких вспомогательных средств и мишурно-блестящей обстановки, усиливающих эффект подобных представлений наших штукарей. Представление в Тионетах происходило во дворе старой крепости, кругом толпа народа, за два часа удовольствия давали что кто хотел деньгами или провизией, и вознаграждение, во всяком случае, выходило жалкое. Весь багаж этой кочующей труппы укладывался на две лошаденки, и так они обходили деревни от Святой до Масленицы. Говорили, у лезгин почти большинство мальчишек занимаются изучением этого искусства. Они протягивают канат над рекой и упражняются, падая в воду, пока не выучатся как следует свободно ходить по канату. Рассказывали, что и Шамиль тоже в юности занимался подобной пляской на канате, но если это, как мне кажется, пустая выдумка, то, во всяком случае, достоверно, что Шамиль в молодости был одним из самых ловких между своими сверстниками. В 1859 году, когда мы возвращались после взятия Гуниба, в одном из аулов Аварии (название забыл) жители показывали князю Барятинскому огромный камень, обрывок скалы, через который Шамиль, будучи 15–16-летним учеником у местного муллы, в числе весьма немногих юношей перепрыгивал с необычайной ловкостью. По высоте камня нам просто не хотелось верить этому рассказу.

## VI.

Тотчас с прибытием в Тифлис графа Воронцова в марте 1845 года разнеслись слухи, что летом будут предприняты решительные военные действия в небывалых до того размерах и что новый *сердарь* (главнокомандующий) одним ударом сокрушит Шамиля со всеми его ордами. В числе приготовлений к этому явились распоряжения о повсеместном в Грузии сборе милиции пешей и конной и вызове, кроме того, охотников принять участие в военных действиях из всех национальностей и сословии. Очень хотелось и мне воспользоваться этими вызовами и отправиться в качестве волонтера в предстоявшую экспедицию, но Челокаев наотрез отказал мне в этом или в противном случае предлагал оставить должность, на что я решиться не мог и потому все лето 1845 года, столь богатое в истории Кавказской войны эпизодами славных подвигов, сильных поражений, ужасных лишений и безвыходных положений, должен был провести в своем глухом округе. Впрочем, однообразие было прервано одним небольшим происшествием дико-воинственного характера.

Дело было так. Тушины, живущие зимой на левом берегу Алазани, в Кахетии, при наступлении жаркого времени, обыкновенно в половине июня, перекочевывают в свои горные аулы, в ущельях Главного хребта. В это время соседние лезгины, особенно дидойцы, вечно враждующие с тушинами, собираются партиями по дороге и нападают на перекочевывающих, не имеющих возможности хорошо защищаться на сильно пересеченной местности, обремененные притом семействами, вьюками и стадами. Чтоб обезопасить их путь и вместе с тем доставить для расположенного в передовых горах караула на лето провиант, Челокаев собрал человек 200 отборной милиции, и 5 июня мы отправились по ущелью реки Шторы на гору Накерали, лежащую посредине перехода в горную Тушетию. О трудностях подобного движения нелегко составить себе понятие. Сначала крутой подъем, весь изрытый водомоинами, поросший вековым лесом, не пропускающим солнечных лучей, далее узенькая тропинка меж голых скал, над крутыми глубокими обрывами, при этом густой туман, порывистый холодный ветер, бьющий в лицо какими-то ледяными крупинками, – озноб пробирает хуже лихорадочного. Все это в горах вовсе не редкость, даже в конце июня и в начале июля; случалось, что люди отмораживали себе в это время руки и ноги, и в том же 1845 году в отрядах несколько десятков грузинских милиционеров потеряли свои пальцы, а донские казаки, чтобы хоть немного согреть окоченевшие члены, должны были пожечь все свои пики, кстати, совершенно бесполезные в горах. Хорош и ночлег на верхушке такой горы, под буркой, в платье, напитавшемся, подобно губке, туманной сыростью, когда вдобавок льет дождь, и уже ни башлык, ни бурка не помогают: ручейки со всех сторон подмывают, ром не греет, оконечности коченеют. Кряхтя приходится подняться и, утешая друг друга разными остротами и шутками, поплясывать на расстоянии двух-трех шагов поровнее места, да поглядывать на жалких, конвульсивно трясущихся лошадей, да слушать оглушительные раскаты грома. Мне несколько раз приходилось проводить такие ночи, и всегда одна и та же причина была, что мы не на лучшем месте останавливались на ночлег: на пути являлись такие препятствия, движение совершалось так медленно – версты две с половиной в час, иногда менее одной версты, что пока мы достигали вершины перевала, уже темнело и двигаться дальше втемь по этим скользким тропинкам над обрывами значило рисковать всеми лошадьми, вещами да и не одним солдатом. Нечего делать, останавливались на верхушке, от семи до девяти тысяч футов над поверхностью моря, подвергаясь произволу самого пронзительного, резкого ветра; а некоторым, не успевшим достигнуть верхушки, приходилось простаивать до рассвета на узенькой тропинке, без возможности не только прилечь, но даже хоть маленьким движением согреться, рискуя поминутно поскользнуться и очутиться на 200–300 сажень в бездне. Это положение еще хуже, чем стоянка на вершине, и отряды на Лезгинской линии, чаще всех испытывавшие такие удовольствия, особенно бата-

льоны, часто бывавшие в арьергарде, могли бы многое порассказать, чтобы вполне изобразить, какова была служба кавказских войск вообще, а действовавших в горах в особенности. Вот в таком положении провели и мы ночь на горе Накерали 7 июня 1845 года, да еще вынуждены были оставаться тут до четырех часов пополудни, чтобы выждать приближения отставших и растянувшихся кочевников, которые могли подвергнуться нападению и быть лишены всякой с нашей стороны поддержки. Наконец, ливень перестал, ветер носил целые массы облаков по ребрам скал, то вдруг застилая от нас все, то вдруг открывая огромные пространства; подчас слышался какой-то отдаленный, глухой грохот – это гремело *под нами*, в ущельях, в Кахетии. Мы тронулись, таща за поводья едва переставлявших ноги лошадей, спустились версты четыре ниже на поляну, поросшую густой травой, и расположились ночевать. С левой стороны у нас к обрыву тощая растительность в виде нескольких корявых берез и дубнячка, куда мы тотчас и отправили людей нарубить веток, чтобы скорее достичь блаженства посушиться у огня да вскипятить воды в медном чайничке и согреться стаканом чая. Не прошло нескольких минут, посланные прибежали сказать, что внизу, под обрывом виден значительный дым, что это, без сомнения, неприятельская партия, расположившаяся на ночлег, и что они не рубили дров, чтобы стуком не обратить на себя внимания. После нескольких минут совещания с опытными тушинскими старшинами решено было, не теряя времени, пользоваться оставшимися еще двумя часами дня и врасплох напасть на неприятеля, который не может быть в значительном числе, а неожиданность и быстрота в нападении самые лучшие союзники. Выбрав человек до пятидесяти лучших людей, мы пустились вниз без дороги, поддерживая друг друга, цепляясь за березки и бурьяны, в направлении виденного дыма; туман содействовал нам, скрывая наше движение, и мы незаметно добрались до низа; место оказалось вроде маленького ущельища, поросшего редколесьем, известного тушинским охотникам под названием Чхатани, из коего тропинкой можно были выйти на выючную дорогу, проходящую в Кахетии. Не более пятидесяти саженей от нас сидели два караульных лезгина, занятые разговором; шагах в ста за ними виднелись несколько наскоро сложенных из ветвей балаганов, в которых человек около ста горцев расположились, как видно было, ночевать: кто спал, кто чистил оружие, кто сушил у разведенных костров одежду. Осмотрев все подробно, мы решились воспользоваться безопасностью партии и нечаянностью нападения скрыть нашу малочисленность. Пройдя незаметно еще саженей двадцать, тушины первыми выстрелами отправили двух караульных к праотцам, затем с криком «ги!», как-то особенно пронзительно прозвучавшим в ущелье, бросились вперед, дали залп в смешавшихся и оторопевших лезгин и выхватили сабли... Несчастные горцы, не успев захватить даже всего своего оружия, бросились бежать в разных направлениях, а крики «ги!», одиночные выстрелы преследующих тушин за ними.

В первый раз пришлось мне быть в подобной встрече и видеть неприятную картину насильственной смерти, видеть людей, бросающихся друг на друга, подобно диким зверям, издающих крики тоже нечеловеческие, видеть, как один конвульсивно умирает под ударами сабли; другой отмахивается огромным кинжалом от нападавшего тушина, отступая и стараясь добраться до леса; третий борется с противником, кусая в бешенстве его лицо, а у самого из раны кровь льет ручьем; еще один, не видя возможности уйти, останавливается, прицеливается из ружья, верно незаряженного, задерживает тем преследующего, но вдруг сбоку раздаётся выстрел, и он, как сноп, валится с каким-то ужасающим стоном...

Смерклось. Изредка раздавались еще вдали выстрелы и гик. Люди начали собираться к лезгинским балаганам, где мы за наступившей темнотой остались ночевать. Четырнадцать трупов валялись кругом; много оружия, бурок, *гуды* (кожаные мешки) с сыром, курдюком (бараний жир), оленьей колбасой да несколько ременных арканов, на которых лезгины уводят пленных, были нашей добычей... Поутру мы возвратились к своим на гору, встреченные выстрелами и поздравлениями. 14 кистей правых рук убитых неприятелей были отрезаны и воткнуты на палки... Таков исконный горский обычай.

Вспоминая теперь об этом первом кровавом происшествии, в которое я попал, мне кажется естественным анализировать те ощущения, какие я при этом испытывал. К стыду своему должен признаться, что ощущения были самого кровожадного свойства... С обнаженной пашкой в руке я бежал с другими, думая только о возможности догнать, рубануть... За что, почему, что сделали мне эти жалкие дикари?.. Вот, подите ж, такова труднообъяснимая сила минутных впечатлений, всех этих выстрелов, гиков, этих кровавых сцен! И ведь сколько раз мне после приходилось бывать в так называемых «делах», то есть драках, опять то же кровожадное чувство всплывало наверх, опять забывались все рассуждения... Да и не я один; почти без исключения все попавшие в эту сферу подвергались тем же влияниям каких-то зверских инстинктов. Как разрешить такое противоречие в душевных движениях человека? Ведь в обыкновенное время я никогда не мог видеть без сожаления, даже без особого нервного содрогания страданий больного, искалеченного человека, даже животного, а тут вдруг вид покотившегося подстреленного человека или изрубленного черепа как будто доставлял особое удовольствие, да еще хуже, возбуждал сильное желание самолично произвести такую же операцию... Это труднообъяснимое чувство играет немаловажную роль во всех войнах, когда приходится удивляться, как это десятки тысяч людей убивают и калечат друг друга без всякого личного к тому повода, большей частью без ясного понимания причин войны и с искусственно-возбужденной враждебностью к противнику. Один мой знакомый, когда зашел разговор о любви к ближнему, выразился, что это на словах очень хорошо выходит, а на деле как будто сама природа отметила это неудобноисполнимым, несоответствующим свойствам живых существ. «Вот посмотрите, – продолжал он, – встретились две собаки, обнюхались, сейчас лезут кусаться, так, без всякой причины; вот кучка воробьев – только и делают, дерутся да щиплют друг дружку за перья; вон два петуха уже надуваются, готовятся выпиться друг в друга; вот встретились двое верховых, их жеребцы уже завизжали, уже собираются грызнуть и лягнуть друг друга. Почему это у всех животных такая инстинктивная взаимная вражда? Почему большинство людей завистливы, друг другу не верят, и вообще, брось им кость – что твои собаки!» При всем цинизме такого замечания, доля правды в нем все-таки есть...

Когда подошли все тушинские караваны, мы проводили их до более открытых, безопасных мест и отправились тем же путем обратно. Проезжая через кахетинские деревни с наткнувшими на палки кровавыми трофеями, тушины делали выстрелы, пели хором свои дикие песни и гордо кивали головами на искренние приветствия грузин, очень радовавшихся поражению исконных своих врагов.

По возвращении в Тионеты я впервые заболел лихорадкой, должно быть последствие ночлега на Накерали, и мучила она меня несколько месяцев. При отсутствии в округе медика я лечился сам, принимая в больших пропорциях хинин. Тогда молодость успешно боролась с болезнью, и следующие за пароксизмами дни я чувствовал себя почти здоровым, так что разъезжал по чертовским дорогам горной Пшавии, промокал до костей в проливные дожди, согревался и высушивал на себе платье, делая переходы верхом и пешком по горам, удивлявшие самих горцев. Впоследствии еще не раз мучила меня лихорадка и гораздо упорнее, невзирая на помощь медиков и лучшую обстановку – лета, значит, брали свое, организм уже не выносил того, что на двадцать первом году от роду.

От тоски одиночества и вообще страсти к переменам я пользовался малейшим предлогом и почти непрерывно разъезжал, особенно в ближайшую к Тионетам Пшавию, по ущельям истоков Иоры и Арагвы. Повсюду голые скалы да горы, изредка поросшие мелким кустарником; деревни висят, как гнезда, над крутыми обрывами; сакли, сложенные из плитняка, без извести и глины, построены ярусами, одна на другой, у большинства – башни с бойницами. Природа дика, растительности мало, клочки запаханной земли, в виде шахмат, разбросаны по крутизнам. На склонах гор, поросших сочной травой, пасутся большие стада овец и рогатого скота. Народ дик, грязен, неуклюж; пьянство развито сильно и не редкость видеть пьяных до

безобразия, напоминающих наши кабаки; у хевсур, а особенно у тушин, я ничего подобного не встречал. Зато пшавы добродушнее и трудолюбивее, многие из них очень богаты, имеют по несколько тысяч баранов, много скота, лошадей и катеров (мул), да и серебряных рублей, зарытых в землю, у них, по слухам, количество немалое. Мне попадались там нередко рубли, очевидно, долго пролежавшие в какой-нибудь яме, позеленелые и почернелые. Между тем по грязному виду и образу жизни пшавов следовало бы считать нищими дикарями.

О бывшей в июне месяце стычке нашей с лезгинами мы по обыкновению донесли начальству Лезгинской линии. Оно выразило свое удовольствие и предоставило войти с представлением к наградам нескольких человек, более других отличившихся. Челокаев хотел поместить в представлении и меня, но к какой награде представить – становилось вопросом действительно затруднительным: *гражданский* чиновник, не имеющий еще чина, оказывающий *военное* отличие? Он послал письмо к полковнику Маркову, спрашивая, нельзя ли меня представить к производству в прапорщики, хотя бы по милиции, что впоследствии, при новом отличии, дало бы возможность ходатайствовать о переименовании в офицеры регулярных войск. Ответ был получен благосклонный, хотя г-н Марков выражал сомнение в успехе подобного, еще никогда не бывавшего награждения гражданского чиновника военным чином; он при этом в виде шутки прибавил, что лучше бы было присоединить к моей фамилии частицу «дзе», дать ей этим вид фамилии грузинской (вроде Абашидзе, Бакрадзе и прочее), что устранило бы всякие препятствия к производству, так как туземцев сплошь и рядом производили в офицеры милиции за военные отличия, хотя бы они собственно на действительной службе никогда не состояли. Шутка начальства показалась нам очень забавной, и представление, конечно без «дзе», ушло с большими надеждами для меня, уже мечтавшего об эполетах и об эффекте, какой произведет это на родине и в Тифлисе между товарищами по канцелярской службе; дальше фантазия разыгрывалась уже до недостижимой высоты, до шляпы с белым султаном, чего доброго, даже до аксельбантов... Ведь это было более тридцати трех лет тому назад!

Вскоре после этого приезжал в Тионеты Генерального штаба подполковник барон Вревский, которому генерала Шварц, кажется, вообще хотел оказать особое внимание как человеку с большими связями, а потому дал поручение осмотреть все протяжение линии, ознакомиться с местностью и прочим ввиду могущей представиться ему здесь особой деятельности. Челокаев встретил гостя самым угодливым образом, из Тионет повез к себе в Матаны, пригласил в крестные отцы недавно родившейся у него девочки; угощениям и любезностям не было конца, так что Вревский уехал вполне очарованным. Искусство, называемое «замазать глаза», на Руси вообще, а на Кавказе в особенности, было усовершенствовано донельзя... Упоминаю об этом приезде барона Вревского не потому, чтобы считал это чем-нибудь интересным, а потому что этому первому знакомству с ним суждено было возобновиться более близким образом при совершенно других условиях десять лет спустя, о чем придется мне рассказывать еще немало.

Из времени, следовавшего за этим в течение почти года, я не могу ничего такого вспомнить, что бы выходило из ряда ежедневных, будничных событий и заслуживало бы упоминания. Канцелярские занятия, чтение, изучение грузинского языка и грамоты, разъезды, просиживания у дымных очагов в длинные зимние вечера со стариками из туземцев, слушая их рассказы о последних временах грузинских царей, о первых годах русского владычества и т. п. – вот в главных чертах картины того образа жизни, какую я вел в одном из заброшенных углов далекого края. Любимое развлечение, которое я по несколько раз в неделю себе доставлял, была ловля форели сетью, ловко закидываемой многими тионетцами, и в особенности служившим у меня Давыдом Гвиния Швили, начавшим со звания конюха и в течение десяти лет, проведенных со мной, прошедшим все степени отличия до чина прапорщика милиции включительно. Вот, бывало, выйдем за ворота старой крепости: Давыд с сетью, другой человек с переметной сумкой, в которой бурдючок кахетинского вина да хлеб, соль, кастрюлька; отойдя версты три-четыре по усеянному мелким булыжником берегу, мы наломаем сучьев,

разведем огонь, животрепещущую форель в кастрюльку с соленой водой и, усевшись с поджатыми ногами на землю, невзирая иногда на несколько градусов мороза с ветром, изрядно тянущим по ущелью, совершим такую трапезу и выпивку, что никакой *table d'hôte* в лучшем европейском ресторане не казался мне таким вкусным. Движение, свежий воздух, вкуснейшая рыба, сваренная совершенно просто в крепко соленой воде, несколько бараньих шашлыков, тут же на палочке поджаренных, отличное вино да особое умение грузин приохотить к еде и питью то остротой, то замысловатым тостом и т. д. – все это при отличном аппетите такой вкус придавало этому незатейливому завтраку, что проведя за ним часика два с неподдельным весельем и удовольствием, мы возвращались домой в отличнейшем расположении духа и с большой склонностью соснуть. Десятки лет прошли с того времени, а все еще с особенным удовольствием вспоминаются такие незначительные, чисто местного колорита эпизоды, и как хотелось бы перенестись хотя на несколько дней опять туда, на Иору, на ловлю форелей, побыть с этими простыми добряками, во многом напоминающими еще людей времен пастушеских, патриархальных!

## VII.

В феврале или начале марта 1845 года на левом фланге лезгинской линии случилось происшествие, в сущности не выходящее вообще из ряда свойственных в свое время Кавказу происшествий, но все же настолько непредвиденное, дерзкое и кровавое, что переполошило и власти, и население Кахетии. Село Кварели, одно из самых больших за Алазанью, как я уже упоминал, служило местопребыванием начальника левого фланга полковника Маркова, помещавшегося в укреплении, возведенном в конце деревни, у входа в горное ущелье и занятом линейным батальоном. В Кварели же имел местопребывание и участковый заседатель (становой пристав) со своей канцелярией. Человек шестьсот лезгин ближайшего общества Дидо под предводительством одного из своих вожаков, часто бывавшего в Кахетии, хорошо знакомого с местностью и грузинским языком, перевалились через главный хребет и в сумерки совершенно неожиданно появились в Кварели. Никому в голову не могло прийти, чтобы в это время года, при глубоких снегах, покрывавших горы, кто-нибудь из горцев решился спуститься в Кахетию, и потому, понятно, никаких мер предосторожности не было принято; горцы прошли чуть не половину деревни совершенно свободно, пока не наткнулись на возвращавшихся откуда-то домой двух-трех жителей, изумленных движением такой значительной толпы вооруженных людей; распознав по костюму лезгин, они сделали несколько выстрелов и побежали назад к дому участкового заседателя, где и подняли тревогу. Горцы бегом вслед за ними ворвались туда же. Заседатель Дадаев с женой, своим переводчиком из армян Сукиясовым и двумя-тремя рассыльными из грузин успели наскоро запереть и завалить кое-чем двери в свои комнаты и решились защищаться. Нападающие, изрубив между тем несколько встреченных во дворе и выбежавших на выстрелы человек, приступили к ставням и дверям дома, занятого Дадаевым; плохие затворки не могли долго выдержать, и лезгины ворвались в комнаты. Дадаев с рассыльными встретили их кинжалами, защищались отчаянно и пали, дорого продав свою жизнь; жена Дадаева в испуге спряталась за вешалку с платьями, но ее нашли, и один лезгин стал торопливо сдирать с пальцев ее бриллиантовые кольца, когда же это не удалось, он, недолго думая, отрубил ей всю руку и бросил омертвевшую женщину на пол; переводчик Сукиясов, струсивший ужасно в самом начале появления горцев, взобрался на какое-то возвышение вроде полки, устроенное в одной из комнат, но его заметили, стащили на пол и ударом кинжала разрубили голову, отчего он и упал замертво; лезгин, по своему обычаю, отрубил ему кисть руки, но вдруг заметил, что ошибся – кисть была левая, тогда он вернулся и отрубил правую... Между тем тревога распространилась по всему селению, дошла до укрепления, откуда была послана рота солдат; раздавшийся звук барабана заставил горцев торопиться, они заиграли в свою зурну для

сбора рассеявшихся по ближайшим саклям на грабеж товарищей и двинулись обратно; пленных в этот раз они не брали, потому что они могли их задерживать при быстром отступлении и едва ли смогли бы перебраться по снегам через горы. Прибравшая рота успела захватить еще хвост неприятельской партии, переколола несколько человек, но преследовать в темноте столь значительную партию не могла решиться, и горцы благополучно убрались восвояси. Кроме Дадаева и рассыльных погибли еще десятка два человек, жена Дадаева осталась жива, но помещалась, а злополучный Сукиясов, благодаря молодости и крепкой натуре, выздоровел, и я его впоследствии видел в Телаве квартальным надзирателем, с приделанными к обеим рукам перчатками, туго набитыми шерстью...

Происшествие это вызвало немало предписаний и распоряжений о принятии надлежащих мер, учреждении бдительных караулов и прочем.

Между тем о разных важных событиях, происходивших на Кавказе со времени основания наместничества и прибытия графа Воронцова, ко мне доносились разными путями слухи, по обыкновению часто противоречившие друг другу. Впоследствии кое-что стали мы узнавать из начавшей с 1846 года издаваться газеты «Кавказ».

К сожалению, первые шаги графа Воронцова в Кавказском крае были печального свойства, и не будь это именно граф М. С. Воронцов, пользовавшийся полным доверием государя, его постигла бы, без сомнения, участь Нейдгарта. Большая военная экспедиция под личным начальством графа, имевшая целью одним ударом порешить с Шамилем, окончилась, невзирая на огромные средства, полным нашим поражением... Взятием чеченского аула Дарго, в котором жил Шамиль, думали с нашей стороны достигнуть покорения всего подвластного ему пространства, вероятно, по тому примеру, как Наполеон со взятием Вены и Берлина предписывал по своему усмотрению условия Австрии и Пруссии. Но если так, то почему же забыли о Москве, взятие которой послужило поводом противоположных для Наполеона результатов? А главное, как не подумали, что какой-нибудь чеченский аулишка вроде Дарго с несколькими десятками хижин даже для нищих чеченцев никакого особого значения иметь не может и что Шамилю при его ограниченных требованиях хоть каждую неделю переменять резиденцию особого затруднения не составит? К довершению бедствия это непереносимое желание овладеть шамилевской «столицей» завлекло войска в глубь тех самых Ичкеринских лесов, которые в 1842 году так кроваво проводили отряд генерала Граббе, и новые батальоны подверглись не лучшей участи... Были минуты, когда боялись за жизнь, еще хуже – за свободу самого главнокомандующего!..

Понеся огромные для Кавказской войны потери до 4000 человек, отряд, наконец, прошел кое-как часть дремучего леса и очутился на поляне Шаухал-берды в самом отчаянном положении, лишенный возможности дальше отступать, за неимением ни продовольствия, ни средств поднять раненых и больных, невзирая на то что все тяжести, начиная с графского багажа, были сожжены и лошади отданы под раненых; окруженный толпами торжествующих чеченцев, без хлеба, без воды, с весьма небольшим остатком патронов и снарядов, оберегаемых для крайнего случая, отряд был вообще в безвыходном положении<sup>3</sup>. Какой-то смельчак, из юнкеров кажется, успел пробраться сквозь усеянные неприятелем леса на нашу линию и доставил запяточку генералу Фрейтагу в крепость Грозную; этот, схватив с покосов и разных гарнизонов все, что можно было найти под рукой, кажется три-четыре батальона с несколькими орудиями, поспешил на выручку. Опоздай он одним-двумя днями, может быть, уже и выручать бы нечего было... Правдивое, подробное описание этого похода, без сомнения, когда-нибудь появится и будет весьма назидательно. Я расскажу здесь вкратце только один из самых кровавых эпизодов, подробно мне известный из официальных и частных документов и по рассказам участников, совершенно различных по своему положению, заслуживающих, однако, полной веры. Дело в

---

<sup>3</sup> В этом отряде находился и принц Александр Гессенский.

том, что отряд после продолжительной стоянки в Анди с истощившимися уже запасами продовольствия двинулся в Дарго, рассчитывая на скорый подвоз сухарей из Дагестана. После взятия Дарго, движение к которому стоило немалых жертв, войска очутились в местности, окруженной большими лесами, что в летнее время составляло для нас всегда самую главную опасность, так как мы имели дело с ловким неприятелем, свывшимся с лесом, как рыба с водой. Ввиду значительных скопищ горцев, наполнявших леса, следовало избрать другой путь отступления и рассчитывать на трудное, опасное же, весьма медленное движение, сопряженное с беспрепятственным боем и преодолением природных и искусственных преград, и потому нужно было обеспечить себя продовольствием на несколько лишних дней. Решено было отправить колонну для принятия провианта от имевшего доставить продовольствие дагестанского отряда, который должен был остановиться на безлесной высоте, над крутым гребнем, по которому спускалась дорога к Дарго. Колонна была составлена весьма неудачно, именно: от всех батальонов и команд часть людей, составивших сводные батальоны и роты. Сделано это было с тем, чтобы каждый солдат принес сухарей для себя и своего оставшегося в Дарго товарища, но это повело к тому, что эти, так сказать, на живую нитку сшитые части лишены были главного достоинства тактических единиц: офицеры, фельдфебели, капралы и солдаты не знали друг друга, нравственной связи у них не было никакой. Назначенный командовать этой колонной старый кавказский боевой генерал Клюки фон Клугенау, сознавая всю опасность предстоявшего ему движения с такими сводными батальонами, наполовину из недавно прибывших на Кавказ полков Пятого корпуса, не обстрелянных и не знакомых с особенностями Кавказской войны, при значительном числе вьючных лошадей, затрудняющих свободный марш в горных лесных труппах, объяснил начальнику штаба генералу Гурко все это и просил изменить состав колонны, но требование его было отклонено, потому будто бы, что главнокомандующий сам так приказал, что противоречие будет ему неприятно (?) и что, наконец, теперь уже поздно изменять все сделанные распоряжения, когда колонна рано утром должна выступить. Клугенау, конечно, оставалось повиноваться, и на другое утро, 10 июля 1845 года, он выступил из Дарго.

Все протяжении по лесистому, с обеих сторон обрывистому гребню было занято неприятелем, устроившим во многих местах из срубленных деревьев завалы. Войска наши в этот день, не обремененные тяжелой ношей и с порожними лошадьми, были подвижнее и потому хоть и со значительной потерей, однако двигались вперед, штурмуя завалы и отбиваясь от назойливых горцев. Авангард колонны под начальством приобретшего славу храбреца генерал-майора Пассека брал завалы один за другим, но Пассек по натуре своей увлекался вперед, не заботясь о следовавших за ним... Таким образом, в значительные оставшиеся промежутки врывался только что выбитый неприятель, опять заваливая тропинку деревьями, и главной колонне снова приходилось делать то, что уже сделано было авангардом – очевидно, напрасная двойная потеря людей и времени. Наконец, поздно вечером до крайности утомленные, со множеством раненых, бросив несколько сотен убитых и без вести погибших в лесной чаще людей (в том числе начальника арьергарда генерал-майора Викторова), добрались войска генерала Клюки до высоты, на которой застали отряд князя Бебутова, пришедший с провиантом. Всю ночь вместо отдыха несчастные люди должны были сдавать раненых, принимать продовольствие, разбирать сухари по ранцам, готовить вьюки и прочее.

Неприятель тоже не отдыхал. Подкрепленный новыми секурсами, ободренный успехом и видом рассеянных по лесу русских трупов, он всю ночь устраивал новые завалы и готовился ко вторичной кровавой встрече.

Наутро 11 июля, сделав несколько условных пушечных выстрелов, чтобы дать знать в Дарго о своем выступлении, колонна двинулась обратно по той же адской, накануне упитанной кровью тропинке... В этот раз утомленные, тяжело навьюченные лошади и люди, очевидно, уже не могли так свободно двигаться. Генерал Пассек опять пошел в авангарде. При всем моем уважении к памяти генерала Клюки я, однако, нахожу в этом случай с его стороны непроститель-

ную слабость: вероятно, не желая уязвлять самолюбие своего приятеля, он, испытав уже накануне последствия легкомысленно храброго увлечения Пассека, опять поручил ему авангард. Дело было слишком серьезно, чтобы думать о чем бы то ни было самолюбии. Даже напротив, на этот раз следовало в авангард послать возможно менее заносчиво-храброго человека, нужен был хладнокровно-распорядительный, стойкий человек, не забывающий отданных ему приказаний; увлекающегося же Пассека следовало оставить в арьергарде, где его беззаветная удаля принесла бы огромную пользу, а для увлечения не было бы места. В этот день повторилась та же история: Пассек, выбивая горцев из одного завала, бежал к другому; дружные штурмы, молодецкие удары в штыки, одним словом – вперед да вперед. Кончилось тем, что он удалился от колонны на несколько верст, и в одной труппе залп из нескольких сотен винтовок скошил и Пассека, и многих офицеров, и множество солдат, и лошадей под орудиями; чеченцы воспользовались минутой неизбежного замешательства, выхватили шашки и бросились на добычу... Авангард был истреблен, пушки сброшены в кручу... Что произошло дальше с главной колонной, поражаемой с боков, спереди, смешавшейся в одну нестройную кучу выючных лошадей, погонщиков, милиционеров, раненых, обезумевших от панического страха солдат, всякий, понюхавший пороху, может себе представить. Генерал Клюки, потерявший убитыми всех своих адъютантов, ординарцев и вестовых, пересаживался с одной убитой лошади на другую, бросался во все стороны, чтобы устроить хоть какой-нибудь порядок, приказывал солдатам, наконец, употребить штыки против смешавшейся, столпившейся кучи милиционеров, препятствовавшей выдвинуть хоть какую-нибудь сохранившую порядок роту... Надо отдать ему полную справедливость: не потерять в таком случае присутствия духа мог только поистине человек с сильной волей, натеревший в Кавказской войне. Положение было отчаянное, можно было ожидать совершенной гибели всей колонны, а между тем обещанная накануне при выступлении из Дарго высылка подкрепления навстречу не появлялась; в довершение пошел проливной дождь, и глинистая почва мгновенно превратилась в густую непролазную грязь, окончательно затруднившую хоть бы медленное движение, а люди и лошади между тем валялись десятками, создав из себя самих завалы... Наконец, остатки колонны стали стягиваться к небольшой площадке, на которой генерал Клюки надеялся устроить хоть кое-какой порядок; в это время появился высланный навстречу батальон храбрых кабардинцев с майором Тиммерманом, которого генерал Клюки тотчас и послал отогнать по возможности неприятеля с боков и облегчить движение остатков арьергарда... Поздней ночью несчастные уцелевшие кучки отряда генерала Клюки прибыли в Дарго, потеряв двух генералов, трех штаб-офицеров, 33 обер-офицеров и 1500 человек; провианта же доставили очень немного, он остался в лесу...

Таков был этот эпизод Даргинского похода, названный солдатами «сухарной экспедицией».

Какое впечатление произвел исход всей большой экспедиции 1845 года на наши войска, на преданное нам христианское население Закавказья и на враждебное мусульманское, может себе всякий представить. О торжестве Шамиля и горцев нечего и говорить. Таким образом, повторяю, не будь это граф Воронцов, пользовавшийся большим доверием и уважением государя Николая Павловича и стоявший выше влияния интриг даже могущественного Чернышева, вероятно, с окончанием экспедиции окончилась бы и его кавказская карьера. В этот же раз вышло совсем противное. Во-первых, весь план действий 1845 года и даже подробности исполнения были составлены в Петербурге и с назначением графа Воронцова на Кавказ переданы ему готовыми для руководства; во-вторых, когда Воронцов, как говорят, возразил, что не лучше ли отложить все дело на год, чтобы дать ему возможность самому ознакомиться со всеми местными обстоятельствами и тогда уже сказать свое мнение, то ему ответили, что откладывать нельзя, что теперь на Кавказе весь Пятый пехотный корпус, присутствием коего и следует воспользоваться, оставлять же корпус еще долее на Кавказе невозможно, что это слишком дорого стоит, наконец, все уже приготовлено, и потому его величество желает, чтобы предположенная

экспедиция была выполнена. Одним словом, видно, что государь был твердо убежден и в безошибочности самого плана, и в невозможности борьбы каких-нибудь нестройных горских полчищ против наших полков, к тому же вся эта масса войска сосредоточивалась в руках такого генерала, как граф Воронцов, который с успехом выдерживал бой против самого Наполеона (в 1814 году под Краоном). О таких отношениях графа Воронцова к предпринятому походу толковали во всех слоях кавказского общества, и не верить этому нет оснований; да и совершенно естественно, что еще за несколько месяцев до своего назначения находившийся в Одессе граф не мог не только принять участие в составлении предположений, но и сказать что-нибудь за или против них; ему пришлось просто повиноваться требованию государя и взяться за дело, в исходе которого, быть может, он сам сомневался. Вдобавок ближайшим помощником графа был генерал Гурко, хотя уже прослуживший на Кавказе два года, но все еще мало знакомый и с краем, и с духом местного населения, и со своеобразностью Кавказской войны. Следовательно, и за печальный результат обвинять графа Воронцова не было никакой возможности. Таким образом, его не только оставили на Кавказе, но доверие к нему должно было усилиться, и ему предоставили на будущее время совершенную свободу действий. Сам же граф Воронцов, наученный печальным опытом своего похода в Дарго, что таким способом на Кавказе ничего не сделаешь, перешел к другой системе действий против горцев. Эту систему можно назвать системой *топора*, как прежняя была системой *штыка*. Она состояла в том, чтобы рубить в лесах неприятельской земли широкие просеки, дающие возможность свободно двигаться войскам, и по мере занятия ими позиций в тылу заселять отнятые у горцев земли казачьими станциями. Мысль эта была, впрочем, не совсем новая, она возникла еще при А. П. Ермолове и особенно подробно и наглядно развивалась его начальником штаба генералом Вельяминовым, но в те времена недостаток средств ограничил ее применение некоторыми небольшими попытками. Теперь же, более совершенно развитая, система эта, поддержанная щедрыми материальными средствами, в течение 10–12 лет энергически выполняемая, перейдя напоследок в еще более энергичные руки князя Барятинского, имела результатом падения упорного Шамиля, боровшегося двадцать пять лет с такой державой, которая казалась грозой целой Европе! Итак, кровавый урок, данный нам в Даргинскую экспедицию, пропал недаром.

Что касается гражданской деятельности графа, то противоречивым слухам и толкам не было конца. Очень много заставил о себе говорить на первых порах *желтый ящик*, прибитый к стене у парадного подъезда наместнического дворца, с лаконической надписью «Для писем и прошений». Очевидно, что когда для подачи прошений были раз и навсегда назначены два дня в неделю и доступ к наместнику был вообще очень легкий, то подобный ящик становился излишним нововведением; большинство очень хорошо поняло, что настоящая суть этой меры – привлечь такие письма и прошения, которые редко лично и даже по почте подаются, попросту сказать – доносы... И посыпались они сначала таки изрядно, и многие возымели свои действия, отозвавшись отрешениями, следствиями, судом. Но дальше приманка стала терять свое значение, в ящик бросались всякие дрязги, пошлости, даже пасквилы, не щадившие и некоторых приближенных к графу лиц, между которыми были весьма нелюбимые и, по народной молве, пользовавшиеся своим влиянием для целей не совсем безупречных.

Конец *желтого ящика* был тот, что и снять его не хотели, чтобы не сознаться в неловкости этой меры, и опораживать его стало даже неловко... Впоследствии посылались дежурный по канцелярии чиновник, который забирал оттуда бумаги и передавал их директору, а он обыкновенные просьбы или жалобы отсылал в подлежащие ведомства, прочие же уничтожались. Исчез ящик совсем только после выезда князя Воронцова из Тифлиса в начале 1854 года.

Частыми разъездами по всем направлениям обширного Кавказа новый наместник знакомился с местными условиями и нуждами, давал населению возможность лично заявлять свои желания и жалобы, тут же делались соответствующие распоряжения, оказывались вспомоществования, поощрялись полезные предприятия, учреждались школы, благотворительные заве-

дения – одним словом, делалось много полезного; многое не удалось, но многое осталось до сих пор, пустило уже прочные корни, напоминающие о благотворном результате этих неутомимых разъездов графа и его супруги, весьма часто его сопровождавшей. Конечно, не обошлось без промахов, без неудовольствий и прочего, но все это не могло устоять на весах против неопровержимо очевидной великой пользы, принесенной всему Кавказу управлением графа Воронцова. Трудно без соответствующих данных под рукой исчислить хотя бы все более выдающееся факты всеобщего преуспеяния, достигнутого краем в эти несколько лет. Тифлис обратился в один из лучших городов России только благодаря заботливости и инициативе графа: улучшены пути сообщения, явилось пароходство в низовьях Куры и на озере Гокча, заведены женские учебные заведения и много благотворительных учреждений, поддерживались и развивались все виды промышленности, и если многое стоило только напрасных затрат казне и самому князю, то единственно по недостатку способных и честных людей и по общему невежеству, с которым так трудно бороться. Вообще, в крае всему дан был толчок вперед, к лучшему. В стране, которая дотоле не знала почти значения гражданской деятельности (если не считать таковой бюрократические подвиги на канцелярском поле), закипела жизнь, дремавшие силы были вызваны наружу; всякий почувствовал потребность если не делать, то хотя заявить о чем-нибудь полезном; и так как граф был чрезвычайно любезен и внимателен, то предположения и проекты посыпались со всех сторон. Как всегда бывает в таких случаях, многое оказывалось дельным, удобоприменимым, иное давало хороший материал или полезные указания, еще более оказывалось нелепостей, абсурдов, о которых долго ходили рассказы, могущие показаться анекдотами. Например, рассказывали об одном забавном проекте, исходившем будто бы от генерала князя Ч., предлагавшем для обеспечения Лезгинской линии от набегов горцев, особенно на протяжении Кахетии, обречь все горы так, чтобы невозможно было спускаться по ним... Другой проект, имевший автором чуть ли не какого-то учителя французского языка в гимназии, предлагал послать к Шамилю мирную депутацию и с ней труппу вольтижеров, всякого рода фокусников, пиротехников и т. п., имевших удивить и прельстить грозного имама, убедив, что борьба с народом, у которого водятся такие чудодеи, невозможна. Деятельность графа Воронцова была просто изумительна. От восьми часов утра до четырех пополудни он не оставлял кабинета, работая постоянно, то выслушивая доклады, давая решения, то диктуя своим кабинетным секретарям. Невзирая на свои почти семьдесят лет, он первые годы лично принимал участие в военных действиях, причем в 1845 году в Даргинскую экспедицию и в 1847 году при осаде Гергебиля и Салты ему пришлось перенести немало трудов и лишений лагерной жизни. Он не ленился непрерывно объезжать обширный край по скверным, большей частью небезопасным дорогам и нередко верхом, затем уделять еще времени на разные приемы и удовольствия ради сближения общества. Его супруга тоже немало и серьезно занималась по делам женских учебных и благотворительных заведений, пожертвовав на это не одну сотню тысяч рублей.

Обращаясь затем к последующей за Даргинским походом военной деятельности графа как главнокомандующего Кавказской армией, должно сказать, что как ни печален был исход первой его экспедиции и как ни бесплодны были еще после того попытки борьбы с Шамилем посредством овладения его укреплениями в Дагестане (Гергебиль, Салты, Чох), стоившие нам огромных жертв, без всякой почти пользы, однако никто не станет оспаривать у графа заслуги введения, наконец, той системы военных действий, которая послужила исходной точкой в покорении Кавказа и прекращении шестидесятилетней борьбы, лежавшей тяжелым бременем на России. Современное сознание ошибок повело к пользе – жертвы, по крайней мере, окупались. Самый быт наших войск при графе Воронцове улучшился, их положение, бывшее до того вследствие скудости средств и многих злоупотреблений крайне тягостным, сделалось обеспеченнее и давало им возможность выносить те чрезмерные тяготы и лишения, на которые эти достойные люди были обречены. Одним словом, в истории Кавказа страницы, заклю-

чающие очерк наместничества графа Воронцова, будут одними из блистательных, и поставленный ему в Тифлисе памятник есть вполне заслуженная дань уважения и благодарности. *Alles hat seine Schattenseite*, говорят немцы, и потому, читая напыщенные панегирики хотя бы и величайшим государственным людям и историческим деятелям, невольно является подозрение в пристрастии; совершенства нет: от Александра Македонского, Юлия Цезаря до Петра Великого, Наполеона или Фридриха никто не свободен от многих недостатков, становящихся особенно видимыми потомству. Дело только в том, что перетягивает на весах: недостатки, пороки или гениальные, обильные великими последствиями дела и подвиги.

### VIII.

С 1846 года по желанию графа Воронцова стала издаваться в Тифлисе местная газета «Кавказ» под редакцией способного и вообще отличного чиновника Константинова. Все казенные учреждения и должностные лица обязаны были ее выписывать, на что, впрочем, тогда никто не роптал, потому что первые несколько лет газета, невзирая на свои скромные средства и чисто местную рамку, издавалась очень хорошо, заключала много интересного и при всеобщей бедности в книгах читалась с удовольствием. Несколько прочитанных мной номеров «Кавказа», в которых были помещены рассказы о некоторых военных действиях, поездках по краю и т. п., дали мне мысль попытать и себя на литературном поприще... Я описал наше движение в июне 1845 года в горы для прикрытия тушинских караванов и стычку с неприятельской партией и послал это ученическое произведение к редактору при весьма робком письме, с большим волнением ожидая, какую судьбу испытает моя первая попытка. Через некоторое время, к великому моему удовольствию, получился номер газеты с моей статьей, подписанной полным именем *автора*... В те времена мне увидеть свое имя первый раз в печати – да, это был восторг, которому мог равняться разве восторг, испытываемый только что произведенным прапорщиком, когда он в первый раз вышел на улицу в эполетах и преважно принимает выделяемые перед ним часовым «на караул»...

Ободренный таким началом, я после снабжал довольно часто редакцию «Кавказа» статьями о разных поездках по горам, о народных праздниках и других особенно оригинальных чертах народных обычаев у горцев и т. п., а впоследствии и военно-историческими очерками по материалам архива главного штаба, в который мне был разрешен свободный доступ. Впоследствии я перешел к печатанию статей в «Современнике» и «Русском вестнике» 1850–1860-х годов. Понятно, что упоминаю об этом без всякого желания порисоваться званием литератора или писателя, до которого несколькими журнальными и газетными статьями и трудно добраться, а просто как об одном из эпизодов моей полной приключениями жизни, бывшем отчасти поводом к некоторой известности в высшей служебной сфере Кавказа, что, в свою очередь, служило не раз причиной некоторого исключительного ко мне внимания, поручения мне более видных должностей и вообще облегчало мне, человеку без связей и протекций, трудный служебный путь. Особенно много обязан я был этому обстоятельству впоследствии, в военной службе, где, признаться, количество порядочно грамотных людей ограничивалось некоторым числом офицеров Генерального штаба и весьма редкими исключениями между обыкновенными, не принадлежащими к этому привилегированному классу офицерами. Из дальнейшего рассказа видно будет, какую роль это *quasi-авторство*, а еще более знание туземных языков играло в моей судьбе.

В начале 1846 года князь Челокаев поехал в Тифлис, взяв и меня с собой. Это было время совершенно новой жизни для Тифлиса, особенно для грузинских князей. Представьте себе большой барский дом, из которого господ давно выехали: тишина, отсутствие всякого движения, только изредка лениво пройдет кто-нибудь из оставшейся дворни. Вдруг господ возвратились, появилась куча народу, наехали со всех сторон гости, шумные обеды сменяются весе-

лыми балами, гремит музыка, везде кипит беззаботная жизнь, прежняя тишина уступила место шумной суете, картина резко изменилась. То же было с Тифлисом. Уныло монотонный вид города при Нейдгарте вдруг превратился в какой-то шумный, праздничный; у всех стала как-то живее кровь обращаться. Дворец наместника с беспрестанным приливом и отливом экипажей сделался центром, около которого все вращалось – кто непосредственно, кто окольными путями. Появились театр, цирк, новые кондитерская и магазины, пошли новые постройки, громадный пустырь Эриванской площади украшался великолепным зданием театра, гостиного двора; вечера, балы и всякие пиршества в подражание наместнику стали даваться и прочей служебной знатью; местные князья, полные блистательных надежд впереди, развернулись по-своему, и обеды без Ага-Сатара (известный персидский певец) стали уже редкостью. А поелику в мире сем закон отражения сверху вниз неизбежен, то шумный образ жизни и вообще какое-то безотчетно веселое расположение духа сказалось почти на всем народонаселении. Не мудрено после этого, что город изо дня в день представлялся в каком-то праздничном, ликующем виде.

Моему начальнику Челокаеву при содействии родных не стоило большого труда попасть в число отличаемых графом людей, тем более что кроме своего древнего княжеского имени он занимал пост в глазах начальства немаловажный и был притом человек с природным умом и весьма ловкий.

В это время было в самом разгаре дело об утонувшем в 1844 году в Иорской канаве почтовом чемодане с 48 тысячами рублей, в похищении которого сильно подозревались князь Андроников и местные полицейские чиновники. Господа эти были арестованы, народная молва решительно указывала на них, однако по следствию никаких доказательств виновности не оказывалось. Граф приказал составить особую следственную комиссию под председательством Челокаева из членов: чиновника особых поручений В. П. Александровского, жандармского майора Иерусалимского и адъютанта князя Бебутова, капитана Лорис-Меликова (впоследствии тифлисский полицеймейстер). Челокаев с восторгом принял данное ему поручение как знак особого внимания, выказал полную уверенность в успешном раскрытии истины и убеждение в виновности Андроникова, которому по каким-то личным отношениям рад был насолить...

Поехали мы на место происшествия в село Цицматияны, прожили, кажется, недели две, прибегали к хитростям, угрозам и арестам, для пущего страха вытребовали даже целую сотню донских казаков, исписали показаниями окрестных татар целые кипы бумаги, однако дела ничуть не подвинули, подозрений на Андроникова и полицию ничем не подкрепили, виновных не оказывалось, чемодан «канул в воду»...

Возвратились мы в Тифлис. Как и что принес в оправдание безуспешности следствия Челокаев, не помню, но внимание к нему не охладело. Вслед за тем мы возвратились в Тионеты.

В июне месяце того же 1846 года мы были чрезвычайно обрадованы официальным известием, что наместник на обратном пути из Владикавказа в Тифлис желает свернуть в сторону и из Ананура проехать через Тионеты в Кахетию. Для этого ведущая здесь по лесистым горам хребта, отделяющего Арагву от Иоры, едва годная для верхового сообщения дорога была нами наскоро исправлена, собран почетный конвой из отборных людей всех племен округа, сделаны все нужные распоряжения, и 15 июля мы отправились в Ананур, куда 16-го должен был прибыть граф, но маршрут почему-то изменился, приезд был отсрочен на сутки. Между тем князь Челокаев вспомнил еще о некоторых необходимых распоряжениях к приему высокого гостя и отправил меня для этого назад в Тионеты.

17 числа часу в третьем пополудни наконец показался поезд. Верстах в двух от деревни встретили графа почетные старшины всех обществ с хлебом-солью, а один из тушин произнес по-грузински приветствие, над сочинением которого Челокаев, отчасти и я, хлопотал несколько дней. Вот буквальный перевод: «*Гамарджоба шена* (победа тебе), наместник царский! Мы, тушины, пшавы и хевсурь, издревле привыкли быть верными подданными наших царей. Милости великого государя к нам неисчислимы. Теперь считаем себя еще более счаст-

ливыми и гордимся, видя тебя, его представителя, на нашей родине. За все это у нас нет приличного дара; в жертву государю приносим самих себя, прольем кровь, где ты укажешь, и острые сабли наши, давно привыкшие разить врагов, иступим об их черепы!». Переводчик тут же передал содержание этой речи, и граф остался очень доволен. В деревне я встретил наместника у ворот нашей старой крепости и был ему представлен князем Челокаевым, сказавшим при этом несколько весьма лестных для меня слов об изучении мной грузинского языка и прочем. Граф подал мне руку, выразил удовольствие, что о единственном русском человеке в округе так хорошо отзываются, и вообще обласкал меня тем, ему одному свойственным обхождением, которое покоряло ему почти всех, имевших случай делаться лично ему известными. Понятно, что я был в восторге.

Во дворе крепости был устроен балаган из зеленых ветвей, и в нем приготовлен обильный завтрак, главным украшением коего были редкой величины форели, поднесенные живыми графу местными рыболовами, и батарея бутылок отборнейшего кахетинского вина. Сам граф в эту пору ничего не кушал (он обыкновенно обедал в шесть часов вечера), но свита его оказала и форелям, и шашлыкам из бесподобных тушинских барашков, и кахетинскому свое полное внимание. Между тем граф через меня разговаривал с жителями, расспрашивал об их совместных произведениях, о сбыте их и прочем. Один из тионетских жителей заявил весьма дельно, что их долина весьма благодатна, хлеб родится прекрасно, сена много, лесу тоже, но они так замкнуты кругом горами, что никуда почти не имеют свободного сообщения, и сбыта всем их произведениям нет. Наместник сейчас обратил внимание на это заявление, обещал сделать нужные распоряжения, расспросил подробно Челокаева о направлении дороги к Тифлису, о ее протяжении, о возможности разработать ее для повозочного сообщения, проверил тут же все на карте и приказал к его возвращению в Тифлис доставить ему подробное предположение по этому предмету.

Часов около пяти выехал граф из Тионет на ночлег в Ахметы, а на другой день утром за завтраком ему представлялись все тамошние князья Челокаевы и почетные жители, также жена хозяина дома, в котором был ночлег, княгиня Нина Челокаева, весьма красивая женщина, получившая тут же богатый подарок – кажется, великолепную бриллиантовую брошку (с князем всегда разъезжал чиновник особых поручений В. П. Александровский в качестве походного казначея, у которого был постоянно большой запас так называемых «экстраординарных вещей», часов, перстней и т. п. для подарков). Князья были очарованы ласковым обхождением графа, его разговором о близком им предмете – виноделии, в котором он знал толк как владелец известных виноградников в Крыму.

В Ахметы были присланы из Телава несколько экипажей, так что граф и его свита с большим удовольствием расстались с верховыми лошадьми, и часов в десять мы верхами у экипажей отправились дальше через Алванское поле в село Енисели (верст 60–70), близ которого был расположен лагерь отряд, разрабатывавший дорогу на гору Кодор, на вершине которой строилось укрепление, составлявшее на Кавказе высшую обитаемую точку. На другой день, невзирая на вдруг наступившую отвратительную погоду и проливной дождь, граф опять пересел на лошадь и по мерзейшей дороге отправился на Кодор. За отсутствием генерала Шварца в отпуск Лезгинской линией заведовал какой-то неизвестный до того на Кавказе генерал-майор Горский, как говорили, из весьма ученых офицеров Генерального штаба. Не знаю, насколько был он ученый, но что он был весьма забавен, это видели все, начиная с самого главнокомандующего, который своей стереотипной улыбке придавал в этот раз особый, едва заметный оттенок. Маленький, толстенький, верхом на большой лошади, с коротенькими ножками, едва достававшими до стремян, и при обыкновенном военном сюртуке, в меховой остроконечной персидской папахе, генерал изображал фигуру уморительную. Нагнувшись при подъеме на гору чуть не до лошадиной головы, обливаемый дождем, он все ехал рядом с графом, что-то ему докладывая, и представлял нечто до того комическое, что все помирились со

смеху. Особенно, помню, забавлял он тогдашнего директора походной канцелярии наместника М. П. Щербинина (ныне первоприсутствующего сенатора), ехавшего все время рядом со мной и расспрашивавшего меня о подробностях образа жизни горцев, их обычаях и т. п., что его весьма интересовало.

Достигнув вершины Кодора, более 8000 футов, граф осмотрел бывшие там войска и работы по устройству укрепления при неперестававшем сильнейшем ливне и едва проницаемом тумане. От этого укрепления ожидали, кажется, весьма большой пользы в смысле обеспечения Кахетии от вторжения горских шаек, которые могут-де быть преследуемы и отрезываемы гарнизоном. Некоторые из опытных туземцев, бывших в числе почетного конвоя, тут же мне высказывали свое мнение, что строящееся укрепление – напрасная трата денег, напрасное изнурение солдат, что зимой оно будет заносимо такой массой снега, который по месяцам прекратит с ним сообщение, и гарнизон будет, как в тюрьме, без всякой возможности выйти, а летом здесь большей частью такие дожди и туманы, что просто опасно удаляться, чтобы не попасть под обрыв. Шайки же привычных горцев найдут себе много тропинок в обход укрепления, и гарнизон никогда вовремя не узнает ни о проходе их, ни о взятом ими направлении. Однако нам не приходилось мешаться не в свое дело, и разговоры эти, переданные мной, впрочем, и Челокаеву, остались без последствий. А между тем справедливость этого мнения вскоре вполне подтвердилась, и, кажется, через год или полтора должны были бросить укрепление на Кодоре, в котором за это время немало настрадались люди, гибнувшие от цинги и вообще отратительного существования.

На ночлег возвратились в село Енисели, где за поздним обедом граф Михаил Семенович, невзирая на такой утомительно проведенный на коне день, был в отличном расположении духа и рассказывал несколько эпизодов из своих походов в Наполеоновские войны. Все слушали с большим и вовсе не поддельным вниманием, потому что такого рассказчика, умеющего в простой форме живо изобразить интересные военные сцены, я больше никогда не встречал. Граф после обеда объявил, что на другое утро в девять часов намерен выехать дальше в Кварели, а там, переправившись через Алазань, – в Сигнах и Тифлис; здесь же желает попрощаться со всеми провожающими его из Тионет.

Когда мы разошлись после этого обеда, Челокаев вздумал воспользоваться удобной минутой и похлопотать о моей награде, за выше рассказанную мной стычку с горцами в 1845 году, ибо представленные тогда тушины все давно уже получили кресты и медали, а обо мне ничего не получалось, и приходилось предположить, что или в Тифлисе, или в Петербурге представлению не дано было никакого хода. Мы вместе пошли к бывшему с графом в качестве начальника штаба свитскому генерал-майору Николаю Ивановичу Вольфу, доложили ему об этом обстоятельстве; он весьма любезно выслушал объяснение Челокаева, обещал все свое содействие и просил в тот же вечер еще доставить ему короткую записку об этом. Понятно, что я поспешил исполнить это требование и через час уже доставил записку генералу Вольфу, который задержал меня у себя долго, стал расспрашивать о направлении в округе хребтов, рек, названиях главных гор, ущелий и прочем, сверяя все тут же с подробной картой, оказывавшейся во многом неверной, особенно с большими ошибками в названиях; он ее исправлял, делал заметки и, поблагодарив меня, выразил удовольствие знакомству со мной, приглашая навестить его в Тифлисе. Такие почеты, оказываемые мелкому канцелярскому чиновнику, юноше двадцати одного года, просто кружили мне голову, и я от особенного волнения, усиленного мыслью о предстоявшей мне на другое утро награде, решительно всю ночь уснуть не мог.

Наконец настало утро памятного мне 20 июля 1846 года. Около девяти часов главнокомандующий вышел из своей комнаты на большую деревянную галерею, окружавшую дом, где толпились вся свита и множество разных князей, почетных жителей, чиновников из Телава, военных из лагеря, приветствовал всех весьма любезно и затем с генералом Вольфом подо-

шел ко мне: «Мне очень приятно, любезный З., слышать о тебе (граф говорил «ты» молодым людям, которым хотел выразить свое расположение, и оскорбляться этим не только никому не приходило в голову, а напротив, это выходило у него как-то особенно дружески, приветливо) такие лестные со всех сторон отзывы; если бы большинство наших чиновников и офицеров по твоему примеру изучали языки и обычаи страны, то это очень облегчило бы нам всю задачу; к тому же ты еще такой лихой наездник и храбрый воин, что я с особенным удовольствием исполняю просьбу твоего начальника и награждаю тебя Георгиевским крестом, вполне тобой заслуженным». Взяв от генерала Вольфа крест с ленточкой, граф прицепил мне его к груди булавкой, пожал руку и отошел к другим. С этого дня прошло почти тридцать три года, но впечатление его живо сохранилось в моей памяти: вся обстановка, от великолепного солнечного утра до громадных ореховых деревьев, оттенявших сцену, от этой разнородной толпы представителей воинственных племен Кавказа до величественной фигуры графа Михаила Семеновича Воронцова в его любимом егерском длинном сюртуке с генерал-адъютантскими вензелями Александра I, какая-то торжественная тишина, внимавшая словам его, обращенным ко мне, – все это как бы до сих пор пред моими глазами... Что я в ту минуту чувствовал, как у меня захватило дух, и я не мог произнести ни одного слова в ответ, выразить довольно трудно, но всякому легко себе представить...

Проскакав близ экипажа графа, джигитуя и стреляя еще несколько верст за деревню, мы, наконец, откланялись, наши горцы крикнули ему громкое «ура!» и потянулись обратно домой. По прибытии в Матаны мы застали довольно много полученных в наше отсутствие пакетов и между прочим уведомление начальства Лезгинской линии, что по представлению об оказанном мной в деле с горцами 8 июня 1845 года отличии я всемилоостивейше произведен в коллежские регистраторы... Мечты об эполетах разлетелись прахом: награда оказалась собственно далеко не наградой, потому что чин следовал мне уже давно, просто за выслугу лет, и я утешился в этой неудаче только что навешенным мне Георгием, ставшим мне еще дороже, и как редкое исключение для гражданского чиновника, и как память такой торжественной минуты в моей жизни... И какое счастье, что это печальное уведомление о чине получилось несколькими днями позже, а то не видать бы мне креста, ибо по закону им могут быть награждаемы только лица, не имеющие чинов.

## IX.

Первым делом по возвращении в Тионеты было составление подробной записки о разработке дороги к Тифлису. Предмет этот, минуя желание скорее исполнить личное приказание наместника, был большой важности не только для жителей Тионетской и соседней Эрцойской долин, населяющих очень богатую почву, но и для самого Тифлиса, потребляющего огромное количество дров, сена и других сельских произведений, доставляемых только ближайшими деревнями по очень высоким ценам. Для жителей открывался путь выгодного сбыта, а для города – новая масса продуктов и неизбежное понижение цен.

Представляя эту записку, мы обещали к лету 1847 года окончить всю дорогу и заявили притом следующие требования: 1) Разрешить собирать рабочих из жителей по мере надобности, не свыше, впрочем, 600 человек в один раз; 2) По достижении района Тифлисского уезда требовать половину рабочих от тамошних жителей; 3) Отпустить нам 600 топоров и 600 рублей денег для угощения по праздничным дням рабочих вином; 4) Выслать небольшую команду саперов с нужным инструментом и достаточным количеством пороха для взрыва скалистых мест, указания рабочим лучшей постройки мостиков, небольших плотин и тому подобных дорожных сооружений.

В Тифлисе, само собой, тотчас разрешили все и в самых благосклонных выражениях благодарили за скорое представление соображений и *умеренность* затребованных средств. Впо-

следствии, когда мне случилось познакомиться с системой смет на дорожные работы, составившиеся ценами путей сообщения по урочному положению, справочным ценам и прочим удобоприменявшимся формальным атрибутам, я уразумел значение благодарности за *умеренные средства* и с улыбкой вспоминал о наших требованиях для новой дороги в 75 верст, из коих половина непроходимых лесов, болот и обрывов... Она обошлась казне в 600 рублей деньгами, да 360 рублей, заплаченных за топоры, да, кажется, еще два-три пуда пороху. До каких размеров разрослась бы смета на такую работу, если бы ее поручить офицерам путей сообщения, и сколько времени потребовалось бы на нее! В Тифлисе, привыкнув к такого рода сметам, очевидно, должны были умилиться нашей скромности...

Начало работ мы, однако, отложили до осени, чтобы не отрывать жителей от полевых занятий; кроме того, и рубка леса, составлявшая главнейший труд, гораздо легче в холодное время, когда спадет лист и деревья теряют сок.

Между тем в округ прибыли разом два офицера Генерального штаба – подполковник Дмитрий Иванович Гродский и капитан Тит Петрович Колянковский: первый – из Закавказья, от начальника Лезгинской линии, второй – из Тифлиса, от главного штаба, для съемок и подробных описаний важнейших в военном отношении местностей в округе. Все почти лето провел я в разъездах с ними по горным местам округа.

Все протяжении Главного хребта, у истоков Ассы, в верховьях Аргуна и Бойсу, представляет один и тот же вид грозных скал, диких ущелий, кое-где поросших мелкими соснами или тощими кустарниками; деревни всех племен, населяющих эти места, строены по одному образцу: на вышине обращенных к солнцу горных скатов, ярусами (амфитеатром), с весьма узенькими переулками; дома сложены очень искусно и прочно из камня, без всякого связывающего материала – глины, известки и т. п., при каждом почти высокая башня с бойницами, все с целью сделать свое жилище неприступным нападениям врагов, а таковыми спокон веку считались у горцев все другие племена, и нередко по делам кровомщения и свои ближайшие одноплеменники. Встречаются сплошь и рядом места, от которых просто в восторг приходишь. Что за величие, грозное, поражающее! Какой мелкотой кажешься сам себе против этого торжественно-молчаливого окружающего!

В Тушинском округе находится гора Борбало, дающая начало большинству значительных рек – Алазани, Иоре, Арагви (пшаво-хевсурской), Андийскому Койсу и Аргуну; все они радиусами расходятся от нее по разным направлениям северного и южного склонов Главного хребта. Из Хевсурии в Тушетию дорога идет через Борбало, большей частью покрытую туманом и вообще известную негостеприимством. Мы проходили ее, кажется, около 10 августа, во многих местах по снегу, окруженные непроницаемым туманом и осыпаемые чем-то вроде небольших градинок, больно бьющих в лицо. Очень величественно ущелье реки Аргуна, которая начинает свое течение маленьким, едва заметным водопадцем, а через несколько верст, приближаясь к хевсурскому аулу Шатиль, составлявшему крайний предел покорной нам страны, превращается в разъяренный поток, низвергающий по ступеням, расположенным почти на правильно прогрессивном расстоянии, целые массы белой пены. По обеим сторонам потока отвесные скалы, у уступов коих едва нашлась возможность проложить узенькую тропинку; река обдаст вас водяной пылью и ревом заглушает ваши слова. Из трещин в скалах сочится вода и, падая капля за каплей, отражается в солнечных лучах тысячью разноцветных камней. В некоторых местах уступы скал до того в упор примкнули к реке, что идти дальше нельзя, и пришлось перебираться на левый берег, пока там встречалось то же препятствие и заставляло возвращаться опять на правый; переправы эти совершаются по мостикам, если не «чертовым», то чертовски опасным и далеко не для слабонервных путешественников устроенным. Горцы перебрасывают два нетолстых сосновых бревна через реку, кладут на них без всякой связи и прикрепы ряд шиферных плит – и мост готов. «Дешево и сердито», как выражаются солдаты. Идешь посредине, лошадь сзади, мост гнется, качается, между плитняка виден кипящий омут,

перил нет, и достаточно неосторожно ступить, чтобы очутиться в пучине... Дерзал я не раз, просто шалости ради, переезжать эти мостики верхом, правда на горских привычных лошадях, но все же это сумасбродство. Гродский и Колянковский, да и большинство не местных жителей, пробирались осторожно, держась рукой за идущего впереди горца, лошадей переводили уже после них и т. д.

Из Шатиля, где был с нами и сам окружной начальник, мы проехали верст десять вперед по ущелью Аргуна в сопровождении нескольких сотен шатильцев и других окрестных хевсур к ближайшему непокорному обществу Кистин-Митхо. С небольшой возвышенной плоскости нам открылась долина, окаймленная невысокими гребнями безлесных гор, и в ней несколько небольших аулов с башнями. Вид был очень красив, грозная природа Хевсурии заменилась более скромным, приветливым горным ландшафтом. Вдали, по направлению терявшегося в тумане ущелья Аргуна, виднелись перепутанные хребты лесистых гор, упирающихся в Чечню, этот кровавый тогда театр Кавказской войны.

В первый раз, имея перед глазами непокорную, неприятельскую часть страны, я испытывал какое-то особое, труднообъяснимое чувство. Так вот они, эти аулы, высылающие людей в шамилевы полчища, ведущие войну с русскими войсками; отсюда-то выходят те мелкие хищнические шайки, которые пробираются то в Кахетию, то в окрестности Владикавказа, на Военно-Грузинскую дорогу, нападая на проезжих, на оставших от своих команд солдат или работающих в полях казаков; они-то заставляют нас ездить с конвоями и то только днем да принимать множество тягостных предосторожностей, а у себя живут эти люди совершенно беззаботно, не боясь никаких нападений и тревог...

Наши хевсуры, желая погарцевать и хоть подразнить своих соседей, называемых ими *урджули* (неверный), так как они считают себя христианами, спустились к крайнему аулу и затеяли пустую перестрелку. Офицеры Генерального штаба в это время рисовали, записывали по рассказам бывалых хевсур разные сведения, а я сидел на площадке, весь погруженный в целый водоворот толпившихся в голове мыслей о возможности наступления с этой стороны наших войск для постепенного занятия ближайших кистинских обществ, не вполне еще поработанных Шамилем и по отдаленности от центра его деятельности не могущих рассчитывать на серьезную с его стороны поддержку. Этим уменьшилось бы число ближайших наших врагов, приносящих столько вреда своими набегами. Отсюда мы постоянно угрожали бы следующим приаргунским обществам, удерживая их от свободного движения на плоскость Чечни против наших войск; далее мне казалось возможным войти отсюда в связь с Владикавказским округом и, так сказать, отрезать целый угол непокорной страны, особенно важный по соседству с главным путем сообщения России с Тифлисом; а подвигаясь постепенно вниз по Аргуну, навстречу войскам, наступавшим вверх по этой реке из Чечни, мы могли бы постепенно укрепиться по течению Аргуна и разрезать Чечню, эту главную опору шамилевского владычества, на две, лишенных взаимной поддержки части... Весьма мало знакомый тогда с местностью, даже по карте, еще менее с положением наших линий и ходом военных действий, я как-то смутно проникнулся убеждением, что мелькнувшая у меня идея должна иметь свои основания. С высоты человек вообще лучше видит, охватывает разом далекие пространства, и мысли принимают невольно более свободный, широкий полет. Что это не фигурная фраза, я убедился после неоднократно. Бывало, в Чечне с плоскости смотришь вперед, видишь перед собой поросшую непроходимым орешником равнину, далее – цепь лесистых хребтов, как бы барьером заграждающих взорам дальнейшее пространство, и не только нельзя представить себе какой-нибудь общий абрис местности, но даже и подробные рассказы проводников оставляют только смутное впечатление. Какая разница, когда с высоты какого-нибудь водораздельного хребта в ясную погоду следишь, бывало, за указаниями старожилов и как бы видишь перед собой самые отдаленные части огромного пространства гор, рельефно обозначающихся по направлению глав-

ных рек и отрогов, то снежно-скалистых, то выступающих темной массой дремучих, вековых лесов! Ту т человек чувствует себя как-то сильнее, свободнее, *erhabener*, как говорят немцы.

Хевсуры, выпустив напрасно несколько сотен патронов, возвратились на гору, и мы отправились назад в Шатиль ночевать, а на другой день дальше по маршруту офицеров Генерального штаба.

Я очень дружески сошелся с обоими этими офицерами, долго впоследствии с ними переписывался, встречал их еще несколько раз, затем, однако, судьба разнесла нас так врозь, что я потерял их из виду, и живы ли они еще, отдыхают ли от службы, хозяйничают ли в каких-нибудь степных деревнях – не знаю. Проводив их из округа до Телава, я возвратился в Тионеты, где по поводу полученного утверждения нашего представления о разработке дороги к Тифлису нужно было спешить всеми распоряжениями, чтобы в октябре приступить к делу.

Между тем один из помощников Челокаева – телавский князь Русиев не захотел больше служить, и на его место был представлен я; утверждение не замедлило, и таким образом я от чисто канцелярской роли совсем избавился и стал принимать участие в административной деятельности уже по прямой своей обязанности.

Зима 1846–1847 годов прошла главнейшим образом в вырубке широкой просеки. Князь Челокаев приезжал, оставался несколько дней в какой-нибудь соседней деревне, привозил несколько человек князей с собой – обеды и ужины происходили в обычной, уже рассказанной мной форме, затем уезжал к себе в Матаны; я же большую часть зимы проводил в балаганах между рабочими, которых нужно было всеми возможными способами удерживать, а то не успеешь отвернуться, уже половина исчезла; и без того много времени терялось в разбирательстве жалоб: неправильно-де его на работу выслали, следовало вот тому-то, то хлеб уже вышел, то руки у него болят и т. д. без конца; особенно пшавцы по своей страсти сутяжничать выводили меня из всякого терпения. Один за другим подходили они, прося выслушать, и начинались истории со времен грузинских царей об отнятом у него баране и требовании справедливого вознаграждения...

Так или иначе, работа подвигалась: целые дни раздавался стук топоров и треск валившихся вековых чинаров и осин, заготавливались материалы для мостов и гатей, можно было надеяться к сроку окончить дорогу. Весной деятельно взялись за работу, отводили канавами болота, рыли спуски, рвали камни; чем далее к Тифлису по равнине, тем дело становилось легче, и к концу августа все 75 верст были отделаны на славу, о чем тотчас и донесли начальству.

## Х.

В последнее время Челокаев что-то все слегка похварывал, почти не выезжал из своего дома, и не только дороги, но и вообще большая часть дел округа, разбирательство бесчисленного множества жалоб жителей, переписка и несколько следствий по более важным преступлениям лежали на мне. Жара стояла ужасная, дождей не видали уже месяца два-три, в Грузии свирепствовала холера, саранча истребляла всю растительность, и без того спаленную зноем; картина в низменной долине Арагвы, где я тогда торопился оканчивать дорогу, была весьма печальная, и я был очень рад, что отделался тогда лишь несколькими днями горячего состояния, по случаю которого я, однако, должен был доехать на арбе до ближайшего городка Душета и пролежать там в военном госпитале, но как только я почувствовал себя в силах стать на ноги, я поспешил выехать в горы, где воздух в несколько дней восстановил меня.

В это время я первый раз присутствовал на нескольких почти языческих празднествах в Пшавии, к которым стекается много народа из Грузии, невзирая на то что все эти люди считают себя христианами православного исповедания. Ту т происходят и жертвоприношения, и

предсказания кликуш, и разные странные церемонии, торжественно совершаемые *деканози*, то есть их доморощенными священниками, и прочее, что будет описано подробно ниже.

Получив известие, что князь Челокаев очень тяжело болен, я поспешил в Матаны и застал его уже в беспамятстве; через сутки он умер, как объясняли бывшие тут два доктора, от воспаления в кишках, благодаря собственной неосторожности, ибо вместо того, чтобы соблюдать строгую диету, как ему при первых днях нездоровья предписали доктора, он продолжал свой образ жизни и незадолго перед тем еще угостился не в меру свежей осетриной, что имело последствием воспаление.

Как помощник и старший при нем я вступил в управление округом и донес о смерти Челокаева начальству. Что казенные денежные дела при покойнике были в совершенном беспорядке, я очень хорошо знал, но так как суммы, поступавшие в округ, были весьма незначительны, ограничиваясь почти исключительно деньгами, следуемыми по штату окружного управления на жалованье служащим, то я и не подумал доносить об этом в полной уверенности, что вдова, поуспокоившись, вникнет в это и без сомнения удовлетворит, кого будет следовать. Но я ошибся, и горько пришлось мне каяться в своей опрометчивости, в юношеской, так сказать, наивности, с которой я отнесся к делу, связанному с казенными, хотя и небольшими (около 2000 рублей) деньгами. У нас ведь так было искони: дело не в том – украдены, размотаны ли казенные деньги, а чтобы все было сделано по форме, с запиской в шнуровые книги и прочим. А не соблюдена форма, то хотя бы и денег никто не украл, все равно скверно, следствие наряжат и вообще выкажут чрезвычайный задор к законности...

По моему донесению об окончании дороги из Тифлиса был командирован Генерального штаба капитан Дмитрий Иванович Свечин для ее осмотра и описания. Я выехал навстречу Свечину верст за пятьдесят по новой дороге, чтобы иметь больше времени поговорить с ним о моих дальнейших предположениях насчет продолжения этой дороги из Тионет до Кахетии и разработке таким же способом еще пути от Тионет до Ананура, что имело бы, между прочим, полезные последствия для виноторговли, ибо теперь все вино, назначенное для Северного Кавказа, вынуждены возить из Кахетии на выюках в бурдюках до Ананура, и оттуда уже только некоторая часть идет дальше по Военно-Грузинской дороге на арбах до Владикавказа.

Свечин оказался, что называется, славным малым, был в восторге и от дороги, и от живописных видов, и от свежей форели с хорошим вином, постоянно выражал удивление, как это за 600 рублей дорогу построили, по которой можно было свободно в карете проехать! Польза же этой дороги представлялась ему на каждом шагу воочию: население Эрцойской и Тионетской долин, особенно на первых порах, просто огулом ринулось в Тифлис с дровами, сеном и прочим.

Пробыв в Тионетах сутки, Свечин возвратился в Тифлис, где и представил отчет о своей поездке с изложением моих новых предположений, вполне им разделявшихся. Наместник был очень доволен, тотчас же приказал сделать все нужные распоряжения к немедленному продолжению работ до Кахетии и Ананура, а меня представить к награде. Обо всем этом Свечин и известил меня дней, кажется, через десять после своего возвращения в Тифлис, вперед поздравляя с Анной третьей степени.

Вслед за тем я получил официальное приказание приступить к разработке дороги в Кахетию на таких же основаниях, как производилась работа на тифлисской дороге; о числе денег, нужных по нашему соображению на это дело, требовали моего донесения.

Я не медлил, тотчас собрал рабочих, и опять началась рубка леса. В этот раз предстояло меньше труда: во-первых, протяжение дороги всего 25 верст, во-вторых, не было ни скал, ни болот и вообще меньше всяких препятствий. Денег я попросил 300 рублей, которые мне, само собой, тотчас и выслали. К весне дорога эта была уже совершенно готова; осматривать ее приезжал офицер путей сообщения, отнесшийся к делу уже не совсем так, как Дмитрий Иванович Свечин: с его специальной точки зрения, конечно, все не так было сделано; он изме-

рлял ширину дороги, рассчитывал градусы уклонов и прочее, все по карманным книжечкам; он забывал только при этом, что дорога проведена не специалистом, а, так сказать, для домашнего обихода, с затратой всего 300 рублей казенных денег и тем не менее вполне удовлетворяла цели: по ней стали свободно ездить на арбах, можно было проехать и в любом экипаже, а до того сообщение было возможно только верхом. Какое донесение представил этот путевый капитан (кажется, фамилия его была Шишко), я не узнал, однако получил благодарность наместника, выраженную в официальной бумаге.

Вскоре затем вместо ожидавшейся Анны третьей степени получилось уведомление о производстве меня «за особенно отлично-полезную службу» в следующий чин, то есть губернского секретаря. Это меня опять огорчило: юноше двадцати трех лет прицепить Анну третьей степени – это что-нибудь в те времена значило, этим можно было пошиковать, а чин губернского секретаря – что в нем? Он как будто еще более удалял меня от малейшей надежды попасть когда-нибудь в военные офицеры...

## XI.

Поздней осенью того же 1847 года я получил сведение, что Шамиль, или просто один из его наивов, управлявших соседними с округом верхнеаргунскими обществами, прислал к хевсурам трех аулов – Ардоты, Муцо и Хахабо, лежащих в небольшом, отделенном высокими горами от прочей Хевсурии ущелье, параллельно Аргуну, своих людей, требуя их покорности Шамилю и в знак ее уплаты дани, угрожая в противном случае разорением. Чтобы не допустить такого неблагоприятного для нас расширения неприятельского влияния, я отправил одного служившего при окружном управлении для посылок имеретина с двумя пшавцами в означенные хевсурские деревни объявить жителям, чтобы не подчинялись требованиям Шамиля, что я вслед за тем соберу милицию и явлюсь к ним для их защиты. Сделав все соответствующие распоряжения, я донес об этом военному начальству в Закаталы и тифлисскому губернатору, а через несколько дней с 300 человеками пеших тионетских грузин и пшавцев отправился в поход.

Громадные снега покрывали горы, дороги по обледенелым тропинкам были едва проходимы даже для привычных туземцев. Мы кое-как добрались до пшавского селения Натура, большей частью пешком, ведя лошадей в поводу, рискуя ежеминутно сломать себе шею. Отдохнув здесь сутки и дождавшись сбора всех людей, я, невзирая на убеждение местных старожилов, что переход через Главный хребет в Ардотское ущелье в эту пору года почти невозможен и сопряжен с величайшими опасностями, решил двигаться далее. Напротив, вся картина представлявшихся трудов и опасностей только подстрекала меня, я становился лицом к лицу с сильными ощущениями, так увлекавшими меня в те годы...

Оставив в Матуре лошадей и несколько лишних вещей, мы выступили до рассвета, чтобы успеть совершить перевал через хребет и непременно к ночи добраться до аула Хахабо; ночевать же на дороге нечего было и думать, не рискуя быть занесенными снегом и замерзнуть. Вооружившись всеми принадлежностями такого похода: железными остроконечными подковами, привязываемыми ремнями к подошвам, окованными палками, лопатками и прочим, мы тронулись. Всякая попытка описать наше движение была бы напрасна. Первые несколько верст по узенькой, обледенелой тропинке над отвесным обрывом в 200–300 саженей мы проползли почти на четвереньках и то при помощи нескольких отличнейших ходоков пшавцев, которые шли впереди с железными лопатками и делали по тропинке насечки. Около полудня мы достигли, наконец, более свободного пространства; начался перевал через хребет. Вся окрестность представляла безбрежную снежную пустыню без малейшего признака жизни, ослепительная белизна невыносимо резала глаза; мы намазали себе щеки растертым порошком, чтобы дать глазу возможность скользить по черному предмету (весьма действенное, испытан-

ное средство), отдохнули с час, позавтракали и тронулись дальше. Утопая в снегу, едва переводя дыхание, спиравшее резким воздухом, мы каждые пять-шесть шагов вынуждены были останавливаться, сердцебиение сделалось невыносимым, глотки вина и снега облегчали только на минуту; я чувствовал расслабление во всех дрожавших членах и какое-то почти обморочное состояние. Уже несколько раз старшины пшавцы заговаривали, чтобы я отказался от дальнейшего движения, но я не хотел сознаться в своей слабости и с ребяческим упорством конвульсивно напрягал последние силы, подвигался по несколько шагов вперед, все думая, что удастся добраться до более крутой части подъема, где снег твердый, и по нему уже гораздо легче будет достигнуть вершины... Наконец, около трех часов пополудни я почувствовал, что силы мне окончательно изменяют, и опустил на снег... Многие из милиционеров, особенно тионетских, остались далеко позади. Меня опять стали уговаривать возвратиться, доказывая, что промедление грозит страшной опасностью, что нужно или идти скорее вперед и до ночи достигнуть Хахабо, или возвращаться и попасть засветло хотя бы в глубь ущелья, где есть кустарник и можно кое-как укрыться от бури, которая ночью почти наверняка начнет бушевать, и тогда в этой открытой пустыне гибель неминуема; некоторые, наконец, сделали еще такое замечание, особенно на меня подействовавшее, что если и удастся добраться на ту сторону, в Ардотское ущелье, то в течение суток могут начаться свирепствующие здесь почти всю зиму снежные ураганы, и тогда на два-три месяца всякое сообщение прекратится, и мы вынуждены будем оставаться у хевсур, едва ли имеющих такие запасы продовольствия, которых хватило бы на несколько сотен лишних человек. Я согласился, наконец, идти назад... А чтобы ободрить и поддержать хевсур, я все-таки решил послать к ним хоть на короткое время несколько десятков человек, зная, что слухи везде, а между горцами в особенности, имеют свойство увеличиваться до небывалых размеров, и в неприятельских обществах уже будут говорить о подкреплении в несколько тысяч человек... Вызвали охотников, обещая им награды. Оказалось человек сорок; я поручил их в заведывание одного расторопного тионетского грузина – Ниния Далаки Швили, дав им нужные наставления; на случай явной опасности приказал дать знать в Матуру, где я буду ждать от них известий в течение нескольких дней. Ободрив их разными комплиментами местного колорита и надеждой на награды от сардаря, приказал им с Богом трогаться вперед, а сам с прочими людьми пустился обратно.

Как мы ни торопились, но едва вытаскивая ноги из глубокого снега, в который мы зарывались буквально по пояс, подвигались мы даже и под гору очень медленно, так что ночь наступила, когда мы достигли самых опасных мест над обрывом, еще довольно далеко от местности, поросшей кустарником, где можно было бы дожидаться рассвета. Однако нечего было делать: оставаться всю ночь на месте, без возможности согреться хотя бы движением, и думать нельзя было. Мы почти ползком все подвигались; передовые предварили последующих постоянными замечаниями держаться правее, левее и т. п., так что часу в десятом только добрались мы до более отлогой местности, где из-под снега торчали кое-где жалкие корявые кустарники да чернелись на косогорах оставшиеся несвеженными копенки сена. Мы с трудом развели несколько огоньков, натаскали сена и, то сидя у огня, то прыгая, то угощаясь из бурдючков кахетинским вином и фруктовой водкой, дотянули до рассвета, после чего благополучно добрались до Матуры. Я был весь как избитый, руки и ноги дрожали, как в сильнейшем пароксизме, а между тем холодная, дымная пшавская сакля не предоставляла возможности порядочно отдохнуть и обогреться; выпив несколько стаканов горячего чая с водкой, натерев ею же ноги, я укрылся несколькими отвратительно-вонючими овчинными тулупами, проспал до вечера мертвым сном – и проснулся как ни в чем не бывало! Да, в двадцать три года все сходит с рук, особенно не совсем изнеженному и хоть немного привычному человеку.

Последовавшие затем первые два дня очень беспокоили меня о судьбе посланных мной людей, хотя пшавцы успокаивали, что случись что-нибудь дурное, то не все же сорок два человека погибнут, и нашелся бы уже какой-нибудь молодец дать нам знать. Наконец, на третий

день к вечеру прибыл один из пшавцев в сопровождении двух хахабских хевсур с известием, что они, тогда как и мы, застигнутые ночью, провели ее в верховьях ущелья по ту сторону хребта и затем благополучно пришли в Хахабо; что около месяца назад действительно приходили в Муцо кистины соседнего общества Майсти и объявили хевсурам, что их наиб по приказанию Шамиля требует покорности и по одному рублю с каждого двора дани деньгами или скотом, говоря, что если они этого не исполнят, то будет послано большое войско для их истребления, что на помощь русских им рассчитывать нечего, ибо они-де окончательно разбиты Шамилем под Гергебилем и Салты, невзирая на присутствие самого их сардаря (действительно, в 1847 году наши войска под личным начальством графа Воронцова осаждали неприятельские укрепления Гергебиль и Салты: первое после отбитого кровавого штурма, стоившего нам многих жертв, не было взято, и войска отступили; второе, осада коего длилась 52 дня, после неслыханно-геройской защиты, после двукратно отбитого штурма, после ожесточенной бойни за каждой саклей пало, наконец, от совершенного истощения сил гарнизона горцев, лишенного воды и возможности перевязать раненых... тут горцы показали, с каким неприятелем имеем мы дело; подробности этой осады были бы интересны и поучительны для всякого военного читателя, и едва ли даже знаменитая защита Сарагосы может выдержать сравнение с защитой горцами Салты). На это жители Муцо отвечали, что покоряться Шамилю и платить ему дань они не намерены, что русский падишах посильнее Шамиля, да и тот с них никакой дани не требует, а что если придет войско, то они будут защищаться до крайности и надеются на помощь всей Хевсурии и Пшавии; при этом напомнили посланному о неудачной попытке Шамиля в 1844 году покорить их соседей шатильцев (об этом расскажу в своем месте). Что же касается селений Ардоты и Хахабо, то они за других ничего отвечать не могут, и потому не угодно ли послам самим туда отправиться. Однако кистины дальше не пошли и возвратились в Майсти, и затем никаких больше посланных или слухов о враждебных замыслах не было. При этом пришедшие хахабские хевсуры от имени своего общества благодарили меня за готовность их поддержать и уверили, что зимой за них опасаться нечего, ибо едва ли неприятель решился бы по труднопроходным дорогам двинуться в эту пору к ним, летом же отовсюду может поспеть к ним помощь, да и сами они за своими крепкими саклями не так легко сдадутся хоть бы и самому Шамилю.

Угостив пришедших хевсур и подарив им по рублю, я на другой день отправил их назад с приказанием к Далакия Швили возвратиться, раздав там жителям все свои патроны, которые бедными горцами всегда очень дорого ценятся; а сам уехал в Тионеты, не вполне спокойный за судьбу посланного мной гораздо ранее имеретина, который, однако, в Хахабо не являлся. Я послал собирать о нем сведения и уже через несколько дней, наконец, узнал, что он избрал другой путь, через Хахматы и Шатиль, куда и добрался, но оттуда в Ардотское ущелье проникнуть не мог, а перевалившись опять через хребет в Хахматы, услышал о моем движении и пустился меня догонять, пока, наконец, в Матуре узнал обо всем подробно и остался там в ожидании Далакия Швили, с которым после и возвратился в Тионеты.

На мои донесения об угрожающей Ардотскому ущелью опасности получены были ответы. И военное, и гражданское начальство придавало делу чрезвычайное значение, одобряло мои распоряжения, предписывало величайшую осторожность в случае действительного столкновения с неприятелем и требовало немедленных подробных донесений с особыми нарочными. Я тотчас донес о своем движении, о дальнейших распоряжениях, об успокоительных уверениях хевсур, при этом, само собой, немного украсил дело присовокуплением хороших результатов оказанной мной, хоть и незначительной поддержки, ободрившей хевсур и показавшей им нашу готовность даже в самое неблагоприятное время спешить к ним на помощь и т. п.

Между тем проходило уже месяца три или четыре со смерти Челокаева, я все еще управлял округом, как стали носиться слухи, что новым окружным начальником назначается опять один из членов фамилии Челокаевых (впрочем, не родственник умершему), бывший до того

окружным же начальником в Осетии, очевидно, стремившийся переехать ближе к своей родной Кахетии и к более насиженному Челокаевыми месту. Этого князя Челокаева по имени Леван я никогда прежде не встречал и вовсе не знал.

Некоторые из самых толковых жителей округа, узнав об этой новости, стали выражать мне свое недоумение – почему правительство считает нужным назначать к ним начальником непременно Челокаева; что этот род, начиная с грузинских царей, до сих пор все ими управляет и что, пожалуй, кончится тем, что закрепостит их, свободных людей, за собой; что для управления ими нет надобности в какой-то специальной фамилии Челокаевых; что их начальником может быть и всякий русский как в Телаве, Сигнах и других уездах Грузии; что, наконец, патриархально-помещичье управление Челокаевых им не всегда удобно, и что они весьма желали бы что-нибудь предпринять против этого. Они просили моего совета (в течение последних тридцати лет само собой все там изменилось, и читатель не должен забывать, что мной рассказывается о делах давно минувших дней; теперь и князь Челокаев, и всякий другой уже вынужден руководствоваться законом общим, забывая о патриархальности, следовательно, дело не в фамилии, а вообще в личных достоинствах назначаемого на должность лица).

Случись со мной такое обстоятельство не в 1847-м, а в 1867 году, я, вероятно, отнесся бы к такому щекотливому вопросу более практически, внушил бы рекламаторам, что долг всякого есть-де повиноваться воле высшего начальства и поставленным от него лицам и т. д., да постарался бы прежде всего устранить себя, чтобы не сочли участником интриги и челокаевом «беспокойного характера». Но я поступил как школьник. Встретив в вышеприведенных рассуждениях жителей только полное подтверждение моих собственных, уже давно сложившихся мнений насчет абсолютного вреда от назначения вообще начальниками лиц в их родных округах, и вполне убежденный, что попадись в Тушинский округ образованный человек начальником, то можно бы много полезного сделать не только для ближайших интересов населения, к которому я со свойственным молодости увлечением успел искренно привязаться, но и в смысле осуществления моих идей насчет занятия приаргунских обществ, движения к Чечне – одним словом, насчет совершения дел, казавшихся мне несомненно полезными и могшими, кроме того, доставить нам, исполнителям, известность и удовлетворение честолюбивых помыслов; я так и высказал перед жителями, что вполне разделяю их взгляд, что действительно очень хорошо бы было получить им наконец постороннего начальника, что они могут выбрать несколько человек и послать их в Тифлис к наместнику, который так доступен, что, конечно, их выслушает, и что хорошо было бы им при этом указать на подполковника Гродского как человека, ознакомившегося с округом и приобретшего в короткое время пребывания в их местах уважение многих. Тут я сделал еще большую школьническую бестактность – впутал имя человека без предварительного его согласия, рискуя навлечь на него подозрение в участии в интриге, между тем как тот, сидя в Закаталах, и во сне ничего подобного не видел... Все это теперь мне, сильно опаленному порохом житейских битв, ясно и кажется непростительной наивностью даже для двадцатитрехлетнего юноши, но тогда я, человек, вообще весьма легко поддающийся первым впечатлениям и постоянно делавший промахи против житейской премудрости, поступил просто, без всякой задней мысли, не думая ни о каких интригах и возможных последствиях. Вышло не так. Когда выбранные из округа несколько человек прибыли в Тифлис с целью в ближайший приемный день обратиться к наместнику со своими заявлениями, то это сделалось тотчас же известным некоторым тамошним князьям, знакомым Левана Челокаева, и те решили не допустить приехавших к графу. Их пригласили к себе, обласкали, затем красноречиво напомнили о патриотизме, о вековой связи с Челокаевыми, удивлялись, что они, *известные своим умом* и прочее, и прочее, достоинствами, дали себя одурачить такому неизвестному мальчишке, *симбирели*, что они таким заявлением были бы пристыжены перед всей Грузией и т. д. в этом роде, притом угощение хорошим обедом с обилием вина, и милые «депутаты» сели на коней и воротились по домам...

Узнал я о происшедшем вскоре по рассказам других, много смеялся простоте «депутатов» и оставил все это дело без внимания.

Между тем тифлисские политики, выпроводив так удачно неприятную для них депутацию, решили ускорить назначение Левана Челокаева, поручив ему заняться выживанием из округа меня. Задача столь легкая, что не стоило и задумываться. И действительно, вскоре затем уже прибыл в Тионеты новый окружной начальник. С первого же дня ясно обнаружилась его предвзятая враждебность ко мне. Для достижения цели он избрал казус о доказывающихся после смерти его предшественника казенных деньгах и повел дело чисто форменным порядком. Сам безграмотный, едва умевший даже по-грузински несколько строк написать, а по-русски только кое-как царапавший букву «ч» и несколько палочек за нею, к тому же человек весьма ограниченный, этот князь Леван привез с собой в качестве частного секретаря какого-то выключенного по решению Сената за подлоги и подчистки документов чиновника, долженствовавшего пустить в ход все богатство своего крючкотворного арсенала на мою пагубу. Начались разные придирки, требования сдачи документов и денег на законных основаниях, все это в длиннейших, безграмотно составленных, но испещренных статьями Свода законов предписаниях.

Полнейшая уверенность в невозможности обвинить меня за недостаток денег, полученных и истраченных умершим Челокаевым, что было известно всем, служившим в округе, и даже вообще большинству соседей Челокаева, а еще более надежда на защиту, которую я мог найти у самого наместника, оказывавшего мне очевидно со времени своей поездки через Тионеты внимание, делали меня более или менее равнодушным ко всем этим канцелярским атакам, и это еще более озлобляло моих гонителей. Я опять-таки с непонятной даже в молодые годы наивностью не сумел оценить силы орудия моих противников: я или вовсе им не отвечал, или довольно лаконически и колко, а они радовались такому дорогому материалу для своего обвинительного акта...

Однако все эти задиранья, сопровождаемые разными мелкими неприятностями в виде отмены окружным начальником всякого моего распоряжения или решения по чьей-нибудь жалобе и тому подобное, заставили меня решиться просить увольнения из округа и искать другой службы; я попросил для этого отпуск в Тифлис и в ожидании разрешения занялся составлением записки, в коей после общего краткого очерка горных мест округа и прилегающих к нему непокорных племен изложил свой взгляд на возможность занятия приаргунских обществ на пользу этого, в смысле обеспечения наших пределов от набегов и облегчения наступательных действий со стороны Чечни. Первым приступом к выполнению таких предположений я предлагал разработку дороги, наполовину колесной, наполовину вьючной, по Арагве, от села Жинвали через Хахматы, и перейдя здесь Главный хребет по относительно весьма удобному перевалу Велькетили, по Аргуну, через Шатиль, до той удобной для расположения войск возвышенности над кистинским обществом Митхо, на которой во время поездки с Гродским и Колянковским мне в первый раз и пришла эта идея.

Прибыв в Тифлис, я представлялся, как и все приезжавшие должностные, наместнику. Граф встретил меня так, что я просто голову потерял... В общем зале, перед всей толпой разных просителей, представляющихся и пресмыкающихся, граф Михаил Семенович после особенно продолжительного рукопожатия обратился ко мне с самыми лестными выражениями благодарности за разработанные дороги, за последнее движение в Хевсурию и вообще за мою службу, выразил удовольствие видеть меня и приказал дожидаться конца приема, чтобы быть представленным графине.

Попав в первый раз в жизни в такой зал, с такой обстановкой, блиставшей массами звезд, лент и всяких шитых мундиров, принятый так наместником, который, минуя свое полудержавное положение на Кавказе и в Новороссийском крае, был и без того значительным историческим лицом в России и, конечно, делал исключительную, непритворную честь такому мелкому

из тысячи своих подчиненных, я просто опьянел... А тут подходят генерал Вольф и другие занимавшие важные посты лица, знавшие меня по поездке 1846 года через Тионеты, с весьма любезными приветствиями и еще более обращают на меня общее внимание...

«Что за господин? Кто это такой? Что он сделал?» – раздается по залу, и множество взоров, обращенных в мою сторону, окончательно приводит меня в конфуз...

Наконец, прием окончился, толпа начинает валить к выходу, граф проходит мимо меня и со своей увлекательнейшей улыбкой приказывает следовать за ним. Пройдя целую амфиладу комнат, поражавших меня, тионетского дикаря, своей роскошной обстановкой, картинами, лампами, ливрейными лакеями, попарно торчавшими у дверей, и прочим, мы вступили в кабинет графа – огромную комнату, в которой и графиня имела свой особенный письменный стол; за ним-то мы и застали ее пишущую. «*Chère Lise*, – обратился граф к жене, – вот З., тот самый молодой человек, о котором я тебе уже рассказывал, преобразившийся из русского чиновника в такого лихого кавказского наездника». Графиня Елисавета Ксаверьевна после нескольких вопросов и весьма любезных фраз пригласила меня на другой день обедать, и пока останусь в Тифлисе, по понедельникам на вечера «поплясать», добавил граф. Я откланялся и в каком-то тумане вышел из дворца, не чувствуя под собой ног.

Обеды у графа Воронцова начинались ровно в шесть часов, при свечах; приглашенных каждый день было не менее 25–30 человек; граф садился посередине стола – на одной, графиня – на другой стороне, ближе к ним садились, кому они сами укажут, прочие размещались, соблюдая между собой принятую последовательность по чинам; обед продолжался ровно час, разговоры велись, конечно, не громкие, но оживленные, и только когда граф Михаил Семенович что-нибудь начинал рассказывать, наступало общее молчание. После обеда, когда обносили кофе, которого граф никогда не пил, он обходил своих гостей, кому говорил какую-нибудь любезность, предлагал вопрос или вспоминал что-нибудь деловое и велел являться на другой день, затем уходил в гостиную, садился за карты, большей частью с постоянными партнерами, играл в ломбер, шутил с садившимися около него дамами, обыкновенно проигрывал и расплачивался все гривенничками и пяточками, изредка закуривал пахитосу, иногда брал щепотку из лежавшей около него золотой табакерки с портретом императора Александра I и как будто нюхал. Все у него выходило просто, но вместе с тем как-то особенно величаво, если можно так выразиться, не так, как у обыкновенных, виденных мной до того людей. Чрезвычайно доволен бывал граф, если около него садились княгини – умнейшая из туземок Марья Ивановна Орбельяни (впоследствии теща фельдмаршала князя Барятинского), Манана Орбельяни или Елена Эристова. Княгиня Манана, невзирая на свои тогда уже немолодые лета, не менее 45, была одна из красивейших женщин, так что остряки обвиняли ее за то, что ее дочь засиделась в девушках: она являлась везде вместе с дочерью, на эту никто и смотреть не хотел... Действительно, дочь Настасья (впоследствии вышедшая за князя Александра Ивановича Гагарина, о котором мне придется говорить подробно) была далеко не так красива, как ее мать. Все подобные мелочи покажутся, конечно, неинтересными и лишними читателю, не кавказскому старожилу, но возобновляя в моей памяти эти мелочи, переносящие в давно минувший, лучший период кавказской жизни, я убежден, что встречу у многих к ним интерес и сочувствие.

Вечера по понедельникам были одними из тех приятных собраний, которые только и возможны у вельмож, подобных графу Воронцову. Неизменная любезность и приветливость обоих супругов, становившихся у дверей гостиной для встречи всех подходивших гостей, полная непринужденность, оживленный говор, множество красивых женщин и блестящей молодежи – в чем разве столицы могли поспорить с Тифлисом, обширность помещения, великолепная обстановка, прекрасный оркестр, щедро уставленный буфет и в заключение отличный ужин на отдельных столиках, занимаемых своими кружками, превосходные вина – все это с заключительной мазуркой, особенно протезируемым графиней танцем (как полька, она, само собой, отдавала ему преимущество), исполнявшейся так, как мне уже после никогда и не случа-

лось видеть, производило неотразимо увлекающее, радостное впечатление, особенно на такого молодого, мало видевшего людей человека, каким я был в ту пору. Граф садился за свою партию ломбера, когда все гости уже нашли свои занятия за танцами, игрой или в кружках, группировавшихся около графини Елисаветы Ксаверьевны или около жившей в их доме старой приятельницы графини Шуазель де Гуфье. В одиннадцать часов Михаил Семенович незаметно уходил, и за ужином его очень редко можно было видеть. Он вел вообще жизнь педантически-регулярную, как истый английский лорд: вставал в семь, в восемь уже сидел в кабинете, выслушивая чтение иностранных газет, в девять тут же завтракал обильно по-английски, в двенадцать выпивал рюмочку с наперсток коньяку, закусывая крошками сухарика, в четыре отправлялся верхом или в экипаже, а в хорошую погоду пешком с графиней гулять, в шесть обедал, в одиннадцать удалялся на покой и выслушивал еще доклады своего метрдотеля, главного кухмистра да болтовню своего ловкого, всему Кавказу хорошо известного камердинера Джовани, то есть просто Ивана Мартыныча, из одесских, кажется, молдаван, – лицо знаменитое в двух отношениях: во-первых, он был безо всякого преувеличения русский Меццофанти и говорил одинаково бегло на двадцати, по крайней мере, европейских и восточных языках, в том числе по-гречески, по-черногорски, по-болгарски и прочее; во-вторых, он так играл на бильярде, что на его игру сходились смотреть как на представление фокусника, он дельвал по несколько сотен очков на одном и том же красном шаре, какие-то заказные триплеты, означал мелом место, где его шар должен остановиться и т. п. Вообще, этот Джовани был человек недюжинный, и про многих генералов говорили, что они при встрече весьма любезно жали ему руку, спрашивая о здоровье... Был тогда в Тифлисе полковник Д., командир гренадерского полка, так тот не стеснялся и делал это даже при других, да приглашал нередко Джовани к себе на завтраки. Он же, Д., был постоянный партнер графа в ломбер и, чтобы не упустить только этот дорогой для него случай – стать, так сказать, домашним человеком графа, он ломберу выучился в одну ночь у того же Джовани...

Никак не могу вспомнить теперь, как и через кого довел я до сведения графа о моей записке и о просьбе перевести меня в другое место на службу. Чуть ли не через любимца графа молодого князя Илью Орбельяни, знавшего меня с поездки через Тионеты и очень дружелюбно меня встречавшего всегда в Тифлисе; он, по-видимому, не только не сочувствовал новому назначению Левана Челокаева, но в виде шутки мне говорил: как вам нравится ваш новый начальник *камбечи* (буйвол)? Говорил он со мной всегда по-грузински и, должно быть, это его так и располагало ко мне. Человек он был хоть без образования, но умный, весьма симпатичный и во всех отношениях прекрасный; пользовался неограниченным расположением графа Воронцова, которым во зло не употреблял. Молодой, красивый, он женился на царевне грузинской Варваре Ильиничне, был после командиром Грузинского гренадерского полка и в чине генерал-майора погиб в сражении с турками при Баш-Кадыкларе от смертельной раны (1853) (он, будучи адъютантом генерала Фези, был в 1842 году взят в плен Шамилем в Казикумухе и выкуплен или обменян через несколько месяцев. И какая страшная судьба! Жене его тоже пришлось побывать у Шамиля в плену в 1854 году, месяцев через восемь после смерти мужа; хорошо, что он не дожил до этого несчастья!..).

У меня совершенно ясна до сих пор перед глазами сцена, как я читал свою записку графу в его кабинете и в присутствии князя Василия Осиповича Бебутова, тогдашнего начальника гражданского управления за Кавказом (знаменитый впоследствии победитель турок при Баш-Кадыкларе и Курюк-Дара). Граф с видимым удовольствием слушал мое громкое чтение и, очевидно, старался обратить на предмет внимание князя Бебутова. Помню еще при этом следующий случай: описывая перевал через Главный хребет у села Хахматы, называемый Великетили, я считал его весьма удобным для движения войска и тяжестей; тут я был прерван замечанием князя Бебутова, что самое название перевала доказывает, однако, его нехорошие качества. Но как, напротив, Великетили по-грузински значит благодатная (благодатная) поляна, то я и воз-

разил князю, пояснив это значение; на что Василий Осипович ответил, что я совершенно прав, а он не расслышал и думал, что я прочитал «Веркетили», то есть неблагородная; причем, обратясь к графу, весьма внимательно следившему за непонятным для него спором на грузинском языке, сказал: «Как он хорошо знает и выговаривает грузинские слова». Это вызвало улыбку удовольствия у графа и, когда я кончил чтение, он сказал мне: «Спасибо тебе, любезный З., за все эти сведения, оставь записку у меня, я еще ее просмотрю и дам тебе знать о последствиях, а завтра приходи обедать».

Я откланялся, а вслед за мной вышел из кабинета и князь Бебутов, выразил удовольствие «познакомиться» (усыпанный звездами генерал, начальник всего закавказского гражданского мира, знакомится с малейшим из своих подчиненных, помощником окружного начальника, губернским секретарем! Очень мне это чудно показалось, я становился просто в тупик от всех этих обращений служебных Геркулесов, стоявших тогда в моих глазах на недостижимой высоте). Сходя вместе с лестницы, князь расспрашивал меня о прежней службе и прочем, а садясь в экипаж, добавил: «Надеюсь, мы с вами еще увидимся».

Понятно, что на другой день я поспешил ему представиться (представление таких мелких приезжих, как я, к начальнику гражданских управлений вовсе не было обязательным), был очень любезно принят, должен был выдержать нечто вроде экзамена на грузинском языке, поговорил немного и по-немецки, ответил на несколько вопросов о положении Тушинского округа и получил похвалу, особенно за грузинский выговор. А нужно знать, что князь Василий Осипович, вообще умный и образованный человек, был замечательный лингвист: он одинаково говорил по-русски, по-французски, по-немецки, по-армянски, по-персидски, по-татарски, по-грузински и недурно по-польски; говорил отлично не только в смысле грамматическом, но и ораторском – таков был общий отзыв всех, близко его знавших. Вообще это был один из тех немногих генералов, которые десятки лет с пользой послужили государству и недаром осыпались наградами. Он, как редкое, да едва ли и бывалое исключение, в чине генерал-лейтенанта получил Андреевскую звезду за победу над турками при Курюк-Дара (умер в Тифлисе в 1857–1858 годах). Говорили, что он имел много важных недостатков. Но это едва ли должно падать великим упреком на его память. Много ли в то время было на Кавказе да и вообще в России безупречных генералов? В отряде князя Бебутова, на турецкой границе, ни люди, ни лошади не гибли от недостатка продовольствия – а в то же время в Крыму что происходило? Он одержал две решительные победы над тройными силами лучших турецких войск, а в то же время на Дунае и в Крыму мы терпели только поражения, даже и от турок... Говорили, что будто в победах своих сам князь Бебутов вовсе не повинен, что у него никакого заранее определенного плана не было, что в решительные минуты он даже не знал, что предпринять. Хотя человечеству вообще больше присуще злорадное чувство осуждения, и без сомнения, это чувство играло в таких отзывах свою роль, но допустим, что все это было и так. Что же следует? Кому же приписать славу победы и успеха (тем более важных тогда как единственные ободряющие известия среди печальных событий)? Храбрости войск? Но разве те войска, что загнанные в болото под Ольтеницей гибли от убийственного штуцерного огня и едва убрались, были менее храбры? Или те, что лезли на Инкерманские высоты или на Федюхины горы? Так или иначе, а среди уныния, обуявшего всю Россию, два раза раздаются победные звуки, везут напоказ отнятые знамена и сотни пушек – это что-нибудь да значит! И все тот же князь Бебут, как солдаты острили, задал турку капут. Ни отнять, ни уменьшить даже поэтому заслуги его невозможно. Что же касается злоупотреблений по делам с подрядчиками, о которых рассказывалось, то, допуская даже их основательность, приходится только жалеть о слабостях человечества и не забывать *смягчающих обстоятельств*, не забывать заразительности примеров окружающих людей, не забывать взглядов почти традиционных в известных слоях общества и еще более плохой системы, при которой не только возможны всякие незаконные наживы, но как будто поощряющей их...

Возвращаюсь к прерванным моим похождениям. Когда я на другой день явился к обеду, граф Михаил Семенович лично подвел меня к полковнику Ефиму Ивановичу Золотареву (тогда командир линейного батальона в Анануре и начальник всех военных постов по Военно-Грузинской дороге до Ларса включительно) и сказал: «Вот, полковник, тот молодой человек, о котором я вам говорил, познакомьтесь с ним, поговорите и после вместе явитесь к начальнику главного штаба».

Я сначала был в недоумении, к чему понадобилось мое знакомство с этим совершенно неизвестным мне господином полковником; однако мы сели за стол рядом, и дело объяснилось. Граф требовал Золотарева к себе, давал ему читать мою записку и спрашивал его мнение как старожилы на Военно-Грузинской дороге и будто знающего хорошо положение прилегающих кистинских племен. Золотарев совершенно одобрил мое предположение. Тогда граф сказал ему, что намерен на него возложить исполнение этого дела, что записку передаст начальнику главного штаба, и мы должны с ним подробно объясниться. После обеда я отправился к г-ну Золотареву на квартиру, где мы довольно долго беседовали. Рассказал он мне, что, очень давно служа на Военно-Грузинской дороге, имел случай близко познакомиться с кистинами, которые в качестве каких-то полупокорных часто приходят на работы или для мелкой торговли в ближайшие осетинские ущелья, что они же главным образом виновники всех происшествий в этих местах, что он вполне разделяет мой взгляд на важность занятия этих обществ, что это совершенно обеспечило бы свободное сообщение по дороге к Владикавказу и что его родственник полковник князь Авалов, начальник туземных племен по Военно-Грузинской дороге (хорошо знакомый с положением Хевсурии и Кистетии), совершенно такого же мнения, но что не имели они об этом до сих пор случая заявить начальству. Полковник Золотарев выразил большое удовольствие, что моя записка, по-видимому, даст толчок этому полезному делу, и думал, что начальник штаба будет, без сомнения, требовать подробностей о средствах исполнения, о числе нужных войск, денег и прочего, что поэтому следует заранее приготовить к ответу на все вопросы. Мы условились на другой день в десять часов утра вместе явиться к начальнику главного штаба.

Г-н Золотарев показался мне человеком не весьма далеким, многоречивым, но как-то не совсем в ладу с логикой, вообще типом армейского штаб-офицера, между прочим очень занятого собой, невзирая на свои немолодые уже годы; носил он ордена какого-то особого громадного размера, красил усы и волосы, весьма изысканно их причесывая. Однако я очень рад был, что он, все же ведь полковник с Владимиром на шее, по-видимому отличающийся главнокомандующим, разделял мои предположения и всеми силами старался их поддерживать. Я был в полной уверенности, что затем к их осуществлению никаких препятствий быть уже не может, и что я, таким образом, могу отлично устроиться, с совершенным изъятием от невыносимой подчиненности князю Левану Челокаеву и от опасных козней его грозного кабинет-секретаря...

## ХII.

Прежде чем продолжать рассказ, я должен сделать отступление и возвратиться к характеристике управления князя Воронцова Кавказским краем.

Из сказанного уже мною по этому поводу прежде читатель достаточно мог убедиться, что управление это принесло краю огромную пользу как в гражданском, так и в военном отношении, хотя я и оговорился, что как во всем на свете, так и в этом были свои тени. Не скрываю своей принадлежности к числу поклонников князя Михаила Семеновича Воронцова и доньне, хотя четверть столетия прошла с тех пор, как я имел честь в последний раз его видеть, сохраняю о нем самое почтительнейшее воспоминание. Тем не менее истина не должна склоняться ни перед чем, и тени исторических лиц, заслуги коих своей стране неопровержимы, не могут оскорбляться обличениями какой-нибудь одной ошибочной стороны их деятельности. В

настоящем случае это тем более так, что и самая ошибочность действий, о коих будет сказано ниже, может быть еще оспариваема или оправдываема соображениями, в то время не для всех ясными. Во всяком же случае, на непогрешимость никто из смертных претендовать не может.

С самого начала управления нового наместника (1845) яснее всего высказалось одно направление: возвышение всеми возможными способами туземной аристократии, даже мусульманской, хотя этой и не в такой степени, как грузинской и армянской, и покровительство вообще в служебных сферах туземному элементу. Князь Воронцов окружил себя адъютантами, чиновниками особых поручений и разными состоявшими при нем из туземных князей, переводившимися по этому случаю в гвардию; несколько княжон были назначены фрейлинами; все генералы и штаб-офицеры из князей, состоявшие до «при армии», то есть не у дел, получили весьма видные и значительные назначения; как в военном, так и в гражданском ведомствах лучшие места стали занимать туземцами.

Большинство князей были бедны, обременены долгами, имения их были заложены; связанные множеством процессов и всяких запутанных дел, они были в затруднительных обстоятельствах, а жившие в Тифлисе в особенности; этим последним нужны были большие средства для придворных посещений и удовлетворения прихотям сильно развившейся роскоши, особенно по части женских нарядов. Грузины вообще тароваты, у них тоже широкая натура: раз попались в руки деньги, все забыто, и нужда, и долги, и недавнее критическое положение – в этом они не отстали от русских замашек. Два-три заезжих француза отлично воспользовались установившимися тогда в Тифлисе условиями общественной жизни и обирали княгинь, да и вообще дамскую публику, до непозволительных размеров, продавая на вес золота всякие тряпки и модные произведения своего Вавилона.

От внимания князя Воронцова не укрылась эта сторона быта грузинских князей, и благодаря его сильному покровительству ускорены были благоприятные решения тяжб, слагались со счетов казенные долги и взыскания, выдавались новые ссуды на условиях более чем льготных, отчуждались казенные и церковные имущества и т. п. Делалось это более или менее для всех вообще князей, но в частности особенно для двух-трех более приближенных семейств, что возбуждало зависть и досаду других.

Чтобы сблизить туземную аристократию с русскими, наместник покровительствовал и поощрял браки между княжнами и своими приближенными. По традиционным понятиям княжны грузинские в то время вообще выходили только за своих князей; за русских же – в виде редкого исключения, и то разве за аристократа, или очень важного по служебному положению, или протезируемого кем-нибудь из сильных мира сего.хлопоты князя и княгини Воронцовых, конечно, увенчивались успехом, и союзов состоялось немало. Начало было сделано доктором Андреевским, хотя и не аристократом по происхождению, но стоявшим высоко вследствие положения, которое он занимал при князе.

Одним словом, и в официальной, и в частной своей деятельности наместник очевидно выказывал решительное предпочтение туземному высшему сословию. Нет ничего удивительного, что вследствие этого русская часть общества, особенно в Тифлисе и в высших служебных слоях, имевших возможность ближе и яснее видеть эту систему во всех ее проявлениях, была не совсем довольна и в своих порицаниях и суждениях невольно приняла оппозиционный характер. Такое настроение еще более усиливалось тем, что многие из туземных князей принимали посыпавшиеся на них милости как должную их званию и достоинствам дань и уже стали обращаться с русскими, даже с теми, у которых еще весьма недавно заискивали, с некоторым презрительно-покровительственным видом. Большинство русских объясняло эту систему князя Воронцова простым желанием приобрести популярность у туземцев, создав себе при жизни памятник, и обвиняло его в стремлении к этой личной цели даже в ущерб государственным интересам. Но как под впечатлением минуты ошибалась, очевидно, одна сторона, принимая все для нее делаемое за должное, так, конечно, ошибалась и другая, видя в дей-

ствиях князя Михаила Семеновича исключительно эгоистическую цель искания популярности. Между этими двумя крайними мнениями истину приходится искать в середине.

Если допустить, что искание популярности или желание проводить принцип преобладания аристократизма на новой, весьма удобной в этом отношении почве и играло тут свою роль, то еще в большей степени могла руководить действиями князя идея привязать к России высшие сословия края, а через них скрепить с ней теснее и весь край. При значительности влияния тогдашней аристократии за Кавказом на туземное население идея эта имела свои достаточные основания. Мусульманская аристократия с усилением ее значения и влияния могла бы даже оказать, особенно в пригорных областях, большую пользу, служа противовесом усилившемуся преобладанию фанатического духовенства, проповедовавшего чистый демократизм и священную войну против нас. К сожалению, большинство ханов и мусульманских аристократов не отличались искренностью, и даже наиболее взысканные милостями нашего правительства всегда играли двойную роль: перед русскими щеголяли большой любовью к эполетам, орденам, низкопоклонничая нередко до приторности, а перед своими горцами старались выказываться педантическим исполнением намазов и презрительными речами о гяурах. Что касается туземной христианской аристократии, то желание привлечь ее на службу и заменить ею большинство приезжих чиновников, не связанных с интересами края, порицаемо быть не могло, если бы только соблюдалось более строгости в выборе.

Дело, однако, в том, что образ действий наместника в отношении всей этой системы покровительства туземным высшим сословиям страдал слишком очевидной исключительностью: для аристократии – все, хотя бы и не вполне законное, справедливое и в ущерб другим, для служащих князей – полнейшее внимание, широкая благосклонность, а для русских чиновников и даже туземцев не князей, за весьма редкими исключениями, – нечто вроде холодно-презрительного равнодушия.

Резче всего обнаруживалось подобное отношение наместника к туземцам и представителям русской администрации во время его частых объездов края. Подъезжает, например, князь Михаил Семенович к границе какого-нибудь уезда. Ту т уездный начальник, большей частью из военных штаб-офицеров или гражданских чинов VI–VII классов, его помощник, участковый заседатель (становой пристав) и толпа местных жителей – князей или беков, почетных старшин, мулл и много просто любопытных (мусульмане особенно падки на всякие встречи и проводы высших властей, чтоб услышать что-нибудь, могущее возбудить глубокомысленные политические рассуждения и догадки). Князь, бывало, выйдет из экипажа, почти не заметит вытянувшихся в струнку местных администраторов, подойдет к толпе, со своей столь памятной всем его знавшим улыбкой начнет приветливо протягивать руку не только аристократам или почетнейшим лицам, а чуть не всем без разбора, нередко таким, которым свой же, действительно почетный человек никогда руки не подаст, мало того, которым тот же незаметный в ту минуту участковый заседатель, быть может, не раз и, пожалуй, еще накануне отпускал по десятку нагаек и пощечин с прибавлением энергических татарских ругательств, вроде *анасыны, бабасыны...*

Туземцы – народ весьма сметливый и политичный; от них такое обращение с ближайшим начальством не могло ускользнуть, и результатом неминуемо должно было быть неуважение к чиновному элементу, между тем как на этой далекой окраине этот элемент был единственным представителем России, единственным пока орудием для введения в крае некоторого гражданского порядка и ассимилирующего начала. Князь Воронцов, по-видимому, более рассчитывал в этом отношении на местную аристократию, но осуществление такой надежды требовало немало времени, а между тем ослабление влияния представителей русской администрации могло отодвинуть назад результаты многих лет, результаты если не блестящие, то, однако, и не ничтожные, обеспечившие, во всяком случае, и порядок, и поступление податей, и охрану прав семейных и имущественных. Да и самый расчет на мусульманскую аристократию,

как на звено между их соплеменниками и Россией, нельзя было не считать весьма шатким: их действия всегда и во всем требовали строгого надзора, еще более близкого присутствия внушительной силы, а приверженность их обходилась довольно дорого правительству в виде подарков, пенсий и т. п., народу же – в виде разных поборов и соковыжимательств, на которое правительство вынуждено было смотреть сквозь пальцы и тем возбуждать справедливые упреки.

Нет сомнения, что коренившаяся между большинством уездных властей склонность ко всякого рода злоупотреблениям как в Новороссийском крае и среди крымских татар, долго управляемых князем Воронцовым, так и в Закавказском крае, внушили князю чувства крайнего нерасположения к этим господам чиновникам, но следовало ли наместнику подчинять свои действия этому чувству и выказывать его перед туземным населением – это другой вопрос.

Преследуйте, казните обвиненных в злоупотреблениях чиновников, не давая им, если угодно, никакого снисхождения, но пока человек занимает известное служебное положение, представляет в лице своем законную власть, считается, таким образом, заслуживающим доверия (иначе не следовало бы его назначать), не политично подрывать к нему уважение, без которого трудно ожидать выполнения лежащих на нем многосложных обязанностей, тем более важных, что они сталкиваются с жизнью, с живыми людьми, а не с бумагой и формами, как в высших административных учреждениях... Нередко даже сами туземцы высказывали по этому случаю свое недоумение, особенно когда протягивание руки наместника распространялось на таких субъектов, которые, как уже сказано выше, такой чести не удостоивались от своих старшин, а от местных администраторов испытывали нередко практиковавшиеся тогда телесные наказания.

Неравенство обращения еще резче бросалось в глаза, когда уездный начальник или даже участковый заседатель был из местных князей: такому оказывалось и другое внимание, и рукопожатия, и прочее. А простой народ за Кавказом, и мусульмане, и даже свои грузины, все-таки предпочитал в те времена начальников из русских, чем из туземцев, которые, уступая русским в знании дела и в усердии исполнения своих обязанностей, нисколько не уступали между тем им в желании нажиться, а по части произвола гораздо превосходили русских, ибо руководствовались традициями азиатских правителей старого закала и не так страшились последствий за свои незаконные действия.

С этими пашами и ханами из туземной аристократии населению было весьма трудно справиться, потому что вслед за наместником их протезировало и все высшее начальство, они были сильны своими связями в Тифлисе. В крайнем случае отрешался такой князь от должности. Что же это для него значило? Он возвращался в свое кахетинское или карталинское имение с запасцем и в своем кругу не терял ни на йоту ни уважения, ни влияния. Между тем какой-нибудь титулярный советник Сидоров или губернский секретарь Иванов весьма легко летели со своих мест не только по жалобе общества, которому могли уже слишком солоно прийти их вымогательства (иногда же за слишком строгое преследование воровства и других преступлений), но нередко даже по одной бездоказательной жалобе какого-нибудь местного туза бека, известного не только в своем кругу, но часто и высшим губерnskим начальственным сферам за отъявленного покровителя воров, грабителей и контрабандистов, нередко личного соучастника, что между мусульманскими аристократами вовсе не составляло особого исключения. А отрешение от должности Сидорова или Иванова, не говоря с преданием суду, но даже и без того, отзывалось на нем совсем иначе, чем на туземном отрешенном чиновнике: он становился каким-то парией, гонимым из служебной среды, презираемым, напрасно толкающимся по передним всякого начальства и большей частью нищим, лишенным всяких средств существования, ибо нахвачанных им незаконно нескольких сотен или даже тысяч рублей, в

особенности если он был человек семейный, доставало лишь на короткое время при относительной дороговизне жизни в Закавказском крае.

Желание князя Воронцова возвышать туземцев и давать им всеми возможными способами ход выражалось систематически на каждом шагу. В один из своих приездов в Шемаху после представления ему всех губернских чиновников наместник обратился к губернатору барону А. Е. Врангелю с вопросом, в котором звучала нота неудовольствия: отчего у вас так мало чиновников из туземцев? На ответ же барона, что желающих служить туземцев он прикомандировывает к губернскому правлению для испытания, но что большинство их оказываются малопособными, князь ничего не возразил, но ему, видимо, это не понравилось.

Большинство представлявшихся чиновников были русские, несколько поляков и на всю губернию два-три немца. Барон Врангель был уверен, что наместник заметит его беспристрастие в этом отношении, то есть что он не окружает себя исключительно баронами – слабость многих высокопоставленных немцев, строго порицавшаяся князем Воронцовым. Порицание совершенно справедливое, только, к сожалению, князь не замечал, что сам впадал в этого рода пристрастие: как начальники из немцев хотели давать исключительно ход остзейским баронам, так он желал наполнить все ведомства исключительно туземцами-аристократами. Я уже упоминал выше, что в этом стремлении выдвигать туземные аристократические элементы князем Воронцовым, без сомнения, руководила не одна узкая эгоистическая мысль приобрести популярность, как думали многие, крайне недовольные его действиями в этом отношении старослуживые кавказцы, люди, впрочем, бесспорно умные, честные и занимавшие высшие посты. Он, конечно, имел в виду и другую, государственную цель; да и справедливость требует сказать, что если из туземной аристократии оказались некоторые не оправдавшие ни своими способностями, ни бескорыстием действий оказанного им внимания и доверия, зато многие из них все это вполне оправдали, принесли краю немало пользы, служили честно и усердно, занимали долго с достоинством высшие военные и гражданские должности и внесли свои имена на страницы истории нашего владычества на Кавказе. Было бы нелепо предположить, что кто-нибудь претендовал на какое-то исключительное право одних русских служить и править за Кавказом и что князь Воронцов, передавая многие должности в руки туземцев, причинял этим какой-нибудь ущерб государственным интересам (читателю не следует забывать, что все здесь говорится о временах давно минувших, более 30 лет назад; с тех пор все так изменилось, что, можно сказать, даже связи прошедшего с настоящим не оказываются). Дело вовсе не в том. Упрек может заключаться единственно в исключительности, в пристрастном выполнении идеи, которая сама по себе могла иметь первостепенные достоинства. А что это пристрастие было, в этом нет никакого сомнения. Мало того, я вполне убежден, что лучшие из туземной аристократии, выдвинутые князем Воронцовым и могущие беспристрастно отнестись и к давно прошедшим фактам, и к их последующим результатам, сами не отвергнут того, что пристрастие было и легко могло быть устранено не только без всякого ущерба основной идее, но даже с пользой для нее.

По истечении стольких лет страсти улеглись, к тогдашним событиям можно отнестись с полнейшим хладнокровием, ничьи чувства, даже самых фанатических поклонников князя Воронцова не могут оскорбиться указанием на эту сторону его деятельности, возбуждавшую в свое время неудовольствие некоторых и носившую, по беспристрастному анализу, характер предвзятой исключительности. Совершенства в делах человеческих нет и быть не может: было бы недостойно памяти великого человека желание выставлять все его деяния совершенством, непогрешимостью. Напротив, сопоставление некоторых теневых сторон только усиливает светлую сторону его великих заслуг, оказанных государству в течение более полувековой службы.

Было, впрочем, и еще одно обстоятельство, вызывавшее недовольные толки, опять же более всего в кругу высших сфер служебного мира: вмешательство в дела и очевидное влияние на их решения некоторых приближенных к князю лиц, особенно одного, не имевшего по зва-

нию своему никакого права на участие в каких бы то ни было делах, ни гражданских, ни военных. Неудовольствие усиливалось еще тем более, что влияние это носило очевидный характер эгоистических побуждений и избирало пути не всегда безупречные. При всеобщем твердом убеждении в высоком бескорыстии князя Воронцова и в его стремлении способствовать единственно пользам состоявшего в его управлении края, искореняя, насколько возможно, практиковавшиеся в нем (впрочем, и во всей России) злоупотребления, общество само собой еще сильнее возмущалось, видя, как некоторые личности, пользуясь широким доверием и расположением князя, вводили его в заблуждение и достигали совершения крупных дел весьма сомнительного свойства... Как пример, можно привести дело о довольствии войск Кавказской армии спиртом. Из этого была устроена долголетняя монополия для одного тифлисского торгового человека, извлекшего миллионные барыши, между тем как с допущением свободной конкуренции могли только выиграть и войска, и казна. Тут совершенно излишне разьяснять подробности: всякая монополия вредна и составляет источники злоупотреблений. Но князя так успели уверить в противном, что он и слушать не хотел никаких доводов и возражений, исходивших от лиц, до коих это дело прямо относилось по их служебному положению и которые по своей опытности и заслуженному всеобщему уважению имели право на полное доверие. Было и еще немало таких крупных интересных дел, где через доктора достигали решения к явному ущербу казне и общественным интересам. Наконец, по случаю вмешательства все-сильного эскулапа в дело о введении в Тифлисе монополии на продажу мяса терпение публики лопнуло, толпа направилась к его дому, перебила ему стекла и прочее. Скандал вышел порядочный, но, как говорили, А. этим не смутился и после короткой паузы действия его возобновились в прежнем направлении... Естественным последствием этого было неудовольствие, раздражение, не имевшие возможности заявляться открыто и вгонявшееся поэтому внутрь; образовывалась незаметная оппозиция, умевшая при всей наружной покорности находить случаи оставлять некоторые желания наместника неисполненными отчасти, а некоторые и вовсе, хотя в этот разряд попадали иногда и полезные, совершенно основательные желания. Случалось вследствие этого также и то, что отлично выражается малороссийской пословицей: «Паны дерутся, а у хлопцев чубы болят»... Не странно ли, что такой государственный человек, как М. С. Воронцов, невзирая на подобные достаточно явные доказательства, не лишал А. своего доверия. Многие старались объяснять это привычкой к человеку, в котором постоянно встречалась нужда. Может быть, и так. Впрочем, известно, что граф вообще был убежден в невозможности существования вполне честного человека не аристократа и потому считал всякие злоупотребления неизбежным злом, которое следует по возможности удерживать лишь в известных пределах... Такой взгляд усвоили себе и иные из его приближенных, из аристократов, и достигнув впоследствии высших степеней и самостоятельных мест, руководствовались им, допускали назначение лиц сомнительных качеств на *доходные* места, не обращали никакого внимания на громкий голос возмущавшегося общества, мало того, как будто покровительствовали подобным лицам. Невольно приходится задуматься: какая же особая разница между теми высшими начальствовавшими лицами, которых обвиняли в наживании капиталов незаконными путями, или такими, которые только потворствовали другим в наживании, довольствуясь презрительным отношением к человечеству?.. И одно скверно, и другое не особенно похвально.

### ХІІІ.

Итак, на другой день после обеда у князя Воронцова и знакомства с полковником Золотаревым (начало 1848 года) часов в десять утра явились мы к начальнику главного штаба кавказской армии и были тотчас потребованы в кабинет. Тут я в первый раз и увидел вблизи столь известного всему Кавказу начальника штаба. Генерал Коцебу, щеголевато одетый, в бархатной,

шитой золотом ермолке на голове и с янтарным чубуком в руках, встретил нас несколькими обычными приветственными словами, причем на лице его выражалось нечто вроде иронической улыбки. Обратившись ко мне, генерал сказал: «Читал я вашу записку; все это прекрасно, только что же думаете вы этим достигнуть?». Не успел я сообразить ответ на этот не совсем мне ясный вопрос, ибо цель объяснялась в самой же записке, как полковник Золотарев взялся за меня отвечать и понес, понес!.. Генерал молчит, улыбается, пускает дым из янтаря, а оратор, вероятно, принимая это за одобрение, несет, несет дальше, все звонко возвышающимся голосом, вроде дьякона, читающего Евангелие. Я и краснел, и волновался, и переминался с ноги на ногу, однако не нашелся, как тут быть, прервать ли полковника, видимо наслаждавшегося собственным красноречием, и сказать «позвольте, вовсе не в этом дело», или дождаться, когда он наконец замолчит, и тогда уже повести свое слово. Между тем, воспользовавшись приостановкой в потоке слов г-на Золотарева, генерал с более ясной иронической улыбкой сказал: «Все это *очень хорошо*, только *пользы* я тут *никакой не вижу*; а вам, господа, просто хочется *сочинить экспедицию*, чтобы иметь случай реляции писать и награды получать». – «Помилуйте, – обиженным тоном начал опять полковник, – напрасно изволите меня такими подозрениями оскорблять», и еще, еще, все в этом роде... Одним словом, кончилось тем, что генерал посмотрел на часы, весьма любезно поклонился, щелкнув шпорами, и мы вышли несолоно хлебавши. Я за всю аудиенции не успел сказать ни единого слова...

«Вот видите, – заговорил Золотарев, когда мы очутились на улице, – я был прав: педант-с, канцелярский чиновник-с и больше ничего-с; вдобавок терпеть не может князя Михаила Семеновича, особенно за протезирование грузин-с, и где может, вымещает на других-с».

Болтовня эта меня, конечно, не утешала; мной овладело какое-то уныние, и хотя бы облегчить свою досаду, высказав г-ну Золотареву, что его ораторство погубило дело, однако я и этого не сделал, просто растерялся. Чем же вся эта история кончится?

В словах начальника главного штаба, что «вы-де хотите сочинить экспедицию, чтобы реляции писать и награды получать», само собой, было немало оскорбительного, но если принять во внимание, что на Кавказе действительно нередко *сочинялись экспедиции* с целью еще *большого сочинения реляций о подвигах*, то он имел основание заявить такого рода подозрение. Однако в данном случае, если бы мне пришлось сказать хоть несколько слов, генерал К., вероятно бы, убедился в отсутствии оснований для такого подозрения. Предположение о движении через Хевсурию исходило от меня, г-н Золотарев о нем решительно ничего не знал и если по личному приглашению самого князя Воронцова познакомился со мной и с моим предложением, отозвался, что совершенно разделяет мою мысль, то это произошло, должно думать, отчасти искренно, вследствие знакомства с местными обстоятельствами, отчасти вследствие обаяния, какое имело слово князя. Я же, составляя свою записку, был такой молодой и маленький чиновник, ни в каких до того экспедициях не участвовавший и о писаниях реляций понятия не имевший, что меня, уж конечно, нельзя было заподозрить в таком поползновении, составлявшем специальность чисто военных людей и большей частью из скороспелых карьеристов высшего общества. К тому же если бы мое предположение даже и осуществилось, то ведь не я был бы его руководителем и не от меня зависело бы сочинение реляций. Вся моя записка и самая мысль о движении через Хевсурию к верховьям Аргуна была, пожалуй, архиюношеским произведением и хромала к тому же отсутствием убедительности в изложении и многих выводов и данных, необходимых в таких случаях для подкрепления основательности самого предположения; может быть, совершенно справедливо было бы сказать, что это ребяческое произведение, не заслуживающее серьезного внимания, порожденное как бы носившейся тогда в воздухе склонностью всех к проектам, но подозревать искренность юношеского побуждения оказать пользу общему делу было несправедливостью.

Прошло с неделю, и я ничего не знал ни о судьбе записки, ни о моей собственной, а характер был у меня болезненно-нетерпеливый, и всякая неизвестность, долгое ожидание были для

меня самым мучительным душевным состоянием. Я шлялся по городу и, благодаря обширному знакомству с туземной молодежью, в том числе и со знаменитым вожаком всех *дардимандов* (кутил) князем Арчилом Мухранским, чуть не каждый день попадал на их шумные пирушки, на эти своеобразные оргии, полные дико-разгульной азиатской поэзии, увлекавшей почти без исключения всех русских. Но в этот раз я довольно апатически относился ко всему, незаметно оставлял веселые компании в самый разгар тостов и бешеной пляски под бубен, все носясь со своими заботами о будущем.

Наконец, в одно утро меня потребовали к князю. Войдя в кабинет, я застал там по обыкновению княгиню, которая очень любезно мне улыбнулась и спросила, когда я уезжаю. Я ответил, что это зависит от воли князя, на что он тут же сказал: «Я вот затем и потребовал тебя. Мы решили узнать насчет твоих предположений еще мнение ближайшего военного начальника генерала Шварца, которому и отправили твою записку. Поезжай к нему, объяснись с ним подробно, тогда увидим, что дальше делать; во всяком случае, я бы желал, чтобы ты остался в том же округе служить. А вечером приходи обедать». Я поклонился и вышел в каком-то неопределенном настроении, не вполне унылым, но и не вполне ободренным. Особенно последние слова князя насчет продолжения службы под ненавистным начальством *камбечи* Челокаева и какая-то необычная нота в голосе, показавшаяся мне как бы выражением некоторого неудовольствия, смущали меня.

Вечером, за обедом, князь мимоходом сказал мне несколько ласковых слов, а В. П. Александровский объявил мне, что он получил приказание выдать мне на дорогу денег – кажется, сто рублей. Не помню, за этим же обедом или за одним из понедельничных вечеров подошел ко мне штаб-офицер в мундире Грузинского гренадерского полка, человек уже весьма немолодой, седой, полный, и с тонкой любезностью заявил желание познакомиться, назвав себя состоящим при князе полковником Потоцким. Давно служа на Кавказе, он-де очень интересуется туземными племенами и надеется узнать от меня немало любопытного. «Князь Михаил Семенович неоднократно с такой похвалой отзывался о вас, – продолжал полковник, – и с таким видимым к вам участием, что я, знающий давно его сиятельство и вообще человек бывалый, опытный, просто удивлялся, тем более что у вас ведь никакой протекции нет, которая могла бы какими-нибудь косыми путями действовать на князя. Я с нетерпением ждал случая лично узнать молодого человека, сумевшего так заинтересовать собой великого государственного человека, каков наш князь *есть*» (такими оборотами речи обнаруживалось польское происхождение Потоцкого, владевшего, впрочем, отлично несколькими языками и в том числе русским). Сконфуженный такой кучей комплиментов, я уже не помню, что пробормотал в ответ, но Потоцкий после разных дружеских уверений и рукопожатий взял с меня слово на другой день у него обедать, причем-де на свободе можно будет о многом побеседовать.

Я никогда прежде не встречал Потоцкого и никогда о нем ничего не слышал. Все сведения, какие я тут же у кого-то из знакомых о нем узнал, резюмировались тем, что он человек весьма образованный, умный, пользуется большим расположением княгини Воронцовой и полуофициально заведует всеми делами, относящимися до кавказских поляков, начиная с религиозных и кончая их частными нуждами; что он, кажется, из участников восстания 1830 года, сослан на Кавказ, провел много лет в Мингрелии и был закадычным другом владетельного князя Дадиана. Впоследствии, в другие приезды мои в Тифлис, слышал я как-то, что Потоцкий нелюбим, ибо его считают наушником князя, не упускающим случая обо всякой сплетне довести до сведения своих патронов, что он вообще вкрадчивый иезуит. Насколько во всем этом было правды, я не знаю, но неоспоримо, что Потоцкий был умный, образованный человек, стоявший в этом отношении неизмеримо выше многих тогдашних деятелей; с другой стороны, действительно в нем было много вкрадчиво-иезуитского. Без этого качества едва ли, впрочем, можно где-либо встретить образованного поляка прежнего времени.

В назначенное время я явился к Потоцкому, принявшему меня со всевозможной хозяйской любезностью, свойственной таким бывалым личностям. И где мне приятнее будет обедать – на балконе (погода была прекрасная, невзирая на зимнее время) или в комнате, и люблю ли я красное вино теплое, не пью ли после обеда желтый чай и прочее. Я конфузился и, должно быть, бормотал не совсем умные фразы. Все это было мне ново, непривычно. После отличного обеда мы провели с Албертом Артуровичем часа два в занимательнейшей беседе. Мне до него не приходилось иметь знакомых из такого рода людей, вращавшихся в высших придворных и политических сферах, притом начитанных и с массой всесторонних сведений, я был просто очарован.

Выслушав мои рассказы о некоторых наиболее оригинальных наклонностях, нравах и обычаях горцев Тушинского округа, он, в свою очередь, рассказал мне кое-что об Имеретии и Мингрелии, о своем знакомстве с сосланными на Кавказ декабристами, особенно с Александром Бестужевым (Марлинским), с которым он был в близких отношениях, о его смерти, свершившейся почти на глазах Потоцкого, бывшего тогда в том же отряде и описавшего этот эпизод в польском «Атене»<sup>1</sup>, издававшемся в тридцатых годах, кажется, в Вильне. Затем Алберт Артурович, намекнув мне, что расположение князя может иметь для меня результатом блестящую карьеру, что при нем многие уже так выходили в важные люди, в самых утонченно-мягких формах дал мне несколько наставлений насчет опасности положения всякого новоприобретающего расположение сильных мира сего, насчет людской зависти и злобы, готовой в таких случаях на всякую подлость, особенно когда дело коснется не аристократа, поддерживаемого сильными тетушками, а скромного труженика, наиболее им ненавистного, обзываемого *parvenu*; что мне нужно быть весьма и весьма осторожным, никого не задевать и прочее; что ему, наконец, показалось, будто и теперь уже некоторые косо посматривают на меня и обмениваются двусмысленно вопросительными взглядами.

Я очень благодарил за участие, но прибавил, что для меня, попавшего в окружающий князя-наместника мир на несколько дней, с тем чтобы возвратиться в глушь, в низменные служебные сферы, едва ли может быть какая-либо опасность, что на блестящую карьеру я не рассчитывал и для меня каким-то чуть не сном и то уже кажется, что я очутился в таком высоком служебном кругу, о котором никогда и не воображал и т. д. Говорил я это совершенно искренно, без всякой задней мысли, однако Потоцкий казался убежденным, что это я только «играю в скромность», и повторял советы насчет осторожности. «Быть обогретым солнцем очень-де хорошо, но часто рискуешь и обжечься, а прихвати у вельмож весьма изменчивы». Между прочим, он еще спросил у меня, как отозвалось в горах взятие минувшим летом шамилевского укрепления Салты, стоившего нам больших жертв. Я ответил, что собственно район гор, в котором я вращался, слишком удален от дагестанского театра военных действий, и потому там об этом событии мало кто и знает; должно быть особенно потрясающего действия оно не имело, ибо в таком случае слухи достигли бы и сюда; некоторые горцы, впрочем, рассказывали, что русские хотели взять у Шамиля в Дагестане две крепости, да не успели, потеряли очень много людей и ушли ни с чем; одну крепость будто Шамиль сам велел после бросить, так как она от пушек очень пострадала, и он считал лучшим построить новую, еще сильнейшую, чем исправлять эту.

Потоцкий по этому поводу передал мне, что князь Михаил Семенович, напротив, придает чрезвычайное значение взятию Салты, стоившей таких напряжений и больших жертв; что он убежден в большом от этого потрясении власти Шамиля в горах, что найденный в стенке укрепления камень с арабской надписью: «Крепость Салты построена по приказанию имама Шамиля (год) на вечные времена и страх всем врагам», хранится в кабинете князя, который вообще об этом деле с видимым удовольствием со всеми заговаривает, что приближенные князя сравнивают взятие Салты с осадой французами Константины в Алжире. Потоцкий советовал мне иметь это все в виду, и если бы князь или кто-нибудь другой заговорил о Салты,

то в таком тоне и речь вести. «Одной голой правдой в свете далеко не уйдешь, уж поверьте старому опытному человеку», – прибавил он.

Нова была для меня тогда такая житейская мудрость, между тем как она принадлежала, так сказать, только к азбуке великой придворной науки. Я говорю *придворной*, потому что тогда на Руси, начиная с министров и кончая уездным начальником, всякий имел свой двор, и все вертелось на личных отношениях: жалует барин буфетчика – все буфетчику кланяются, а изволил барин на него прогневаться – вся дворня от него отступилась. Но было и так, что по пословице: «Жалует царь, да не жалует псарь»... Через день после этого я выехал в крепость Закаталы.

#### XIV.

Была половина января 1848 года, шел полуснег, полудождь, погода вообще была прескверная. Часть дороги была мне знакома еще по первой поездке в 1844 году из Тифлиса в Телав; от станции Нукрияны я повернул направо на Караагач и Царские Колодцы, где была тогда штаб-квартира Тифлисского егерского полка, которым командовал полковник Борис Гаврилович Чиляев. Я прожил тут целые сутки, обедал и провел вечер у Чиляевых, ходил с ними смотреть представление каких-то заезжих фокусников, но никоим образом не могу теперь вспомнить, кто был мне знаком на Царских Колодцах и кем я был введен в дом Чиляевых. Впрочем, кавказское военное гостеприимство, особенно со стороны командиров и отдельных начальников, было нечто совсем необыкновенное, напоминавшее прежних московских бар, у которых «дверь отперта для званых и незваных».

От Царских Колодцев до Закатал верст около восьмидесяти по довольно гористой дороге, грязь была невылазная; от последней станции Муганло, где на пароме переправлялись через Алазань, нужно было брать конвой из донских казаков и милиционеров и верст двадцать пять ехать маленькой рысцой. Таким образом я дотащился до места, когда уже совсем стемнело; заря была пробита, и впустили меня в крепость со всеми подобающими предосторожностями, вызвали ефрейтора, дежурного и прочее. Я прямо по указанию дежурного подъехал к квартире Дмитрия Ивановича Гродского и застал его одного за чтением. Он удивился и очень обрадовался. «Какими судьбами, откуда, что?» и т. п. вопросы посыпались на меня. Мы за полночь проболтали за самоваром, я прочитал ему свою записку, он тоже вполне разделял мои соображения. Я рассказал ему затем, как опрометчиво, без его позволения, впутал было его имя в ходатайство депутатов от жителей округа назначить им русского начальника, но что, к счастью, тионетские депутаты возвратились, не повидав даже наместника. Добрейший Дмитрий Иванович был очевидно озадачен и сказал мне: «Ну, хорошо, что так случилось, а то я никогда не простил бы вам этого казуса. Я избегаю всякого малейшего сближения с высоким начальством и потому никогда и не принял бы такой должности, которая требует забот не только по служебным, но еще более по частным, личным отношениям к разным властям».

В дальнейшем разговоре Дмитрий Иванович дал мне некоторое понятие о личности генерала Шварца, для представления которому я, собственно, и приехал в Закаталы. По его словам, это был человек умный, деловой, но холодный, индифферентный ко всему, что не прямо его касается; он, впрочем, ожидает вскоре нового назначения, и потому, должно думать, еще менее интереса окажет предположениям, до этого края относящимся.

Под этим не совсем утешительным впечатлением я на другое утро отправился представляться начальнику всей Лезгинской кордонной линии генерал-лейтенанту Шварцу. Сам он, его костюм, и комнаты, и вся обстановка произвели на меня какое-то новое, странное впечатление: все было не так, как я привык видеть у высшего начальства. Какая-то архиспартанская простота, какой-то военно-походный вид на всем: холодные, полупустые комнаты, несколько простейших деревянных стульев, кабинет в виде ротной канцелярии и сам генерал – человек

по виду средних лет, среднего роста и, если можно так выразиться, средней физиономии, то есть не выражающей ничего особенного, одет в старенький сюртучок без эполет, в каких-то толстых сапогах и грузинской папахе на голове, которую он приподнял, пока я произносил стереотипные «ваше превосходительство, честь имею представиться, помощник» и прочее.

– Читал вашу записку, полагаю, дело было бы хорошее, но не могу никакого решительного мнения высказать, ибо вовсе не знаком с тамошней местностью и прочими условиями, скорее следовало спросить об этом у начальства Владикавказского военного округа, они там ближе и лучше могут знать, я сегодня же и ответ пошлю в Тифлис.

Коротко и ясно. Сейчас видно делового человека. Говорить мне ничего не приходилось, и я уже думал раскланиваться.

– Позвольте, вы, я слышал, не желаете больше служить в Тушинском округе? (Откуда, думаю себе, слышал он это?) Почему же это? Вы уже там привыкли, все хорошо знаете, можете пользу приносить, зачем же менять место?

– Я, ваше превосходительство, не могу оставаться под начальством нового окружного начальника, который явно, с первого дня прибытия в округ, выказал враждебное ко мне отношение; при таких условиях я никакой пользы принести не могу, а себя подвергаю только напрасным неприятностям, еще более невыносимым в таком глухом месте, где жизнь и без того полна всяких лишений.

– Вам нужно постараться поладить с новым начальником. Вы моложе и чином, и годами, вы должны уступить кое-что и перенести. Я для вашей же пользы советую вам оставаться там.

Затем генерал, приподняв свою папаху, спросил, где я остановился, а когда я назвал Дмитрия Ивановича Гродского, то он с улыбкой сказал:

– Ну, это домосед, монах, его из кельи не вытащишь, а вы, если желаете, то приходите в два часа на щи и кашу.

Я поклонился и вышел. Вот тебе и результат поездки! Дмитрий Иванович, которому я передал весь разговор с генералом, опять повторил, что г-н Шварц мало интересуется всем, что не прямо его касается, и что потому ответ его в Тифлис, вероятно, будет уклончивый, более канцелярская формальность, нежели какое-нибудь мнение о самом вопросе. Что же касается разговора о моей службе, то и он удивлялся, откуда генерал это знал и еще более, отчего он принял как бы близкое участие в этом, что не в его характере.

До обеда оставалось несколько часов, и мы, невзирая на слякотную погоду, погуляли по крепостному валу; мне хотелось иметь понятие об общем виде Закавказья и ее значительного форштадта. Крепость построена на уступе горы и открывает вид на довольно далекое пространство по долине Алазани. Окружающее ее народонаселение – лезгины, называемые джаро-белоканцы (по имени двух главнейших аулов), – было искони грозой для христианской Грузии. В первое время вступления наших войск в край главное внимание было обращено на покорение этой части мусульманского населения и обеспечение с этой стороны безопасности грузинских провинций. Главнокомандующий тогда на Кавказе князь Цицианов поручил дело это генералу Гулякову, который разбивал несколько раз лезгинские полчища, проник за Алазань, в центр их населения, но, наконец, в одном тесном лесистом ущелье, где не было возможности развернуться войскам и действовать артиллерии, непривычные еще к такого рода одиночной войне войска наши потерпели сильное поражение, понесли значительные потери, сам Гуляков пал жертвой своей отваги (1804). Остатки отряда кое-как отступили из труппы и расположились на возвышенной площади – теперешней крепости, в которой поставлен памятник храброму генералу Гулякову. В этом же самом отряде был тогда адъютант князя Цицианова двадцатичетырехлетний поручик Преображенского полка граф Михаил Семенович Воронцов, едва спасшийся в общей суматохе: он бросил лошадь и примкнул к нескольким солдатам, спустившимся в какой-то овраг, который и вывел их из лесу. Будучи уже главнокомандующим, через сорок с лишком лет после этого, князь Михаил Семенович охотно вспоминал военные приключения

юности и рассказывал о них за походными обедами, особенно в соответствующих происшествиях местностях. Памятник Гулякову поставлен по его распоряжению.

Поражение нашего отряда не имело, однако, особенно бедственных результатов для дела. Принятыми тотчас князем Цициановым мерами, особенно вырубкой просек через дремучие леса от Алазани, лезгины были не только удержаны от значительных вторжений в Грузию, но и поставлены в положение полупокорных нам обществ. Наконец, в 1830 году, уже граф Паскевич окончательно занял весь Джаро-Белоканский округ, построил крепость Закаталы (по имени ближайшей лезгинской деревушки), окончательно покориł жителей, и с тех пор наши войска не покидали этого края, в котором введено было полувоенное-полугражданское управление. От крепости исподволь возник на 150-верстном протяжении в обе стороны, у подножия хребта, ряд мелких укреплений и постов, называемых Лезгинской кордонной линией, для прикрытия по возможности страны от постоянных набегов хищных племен, живущих за главным хребтом. Впрочем, цель эта достигалась весьма неудовлетворительно, шайки шлялись постоянно и нападали на целые военные команды, нередко на целые грузинские селения, как это было в начале 1845 года в селе Кварели, о чем я рассказывал выше. Мелкие же хищничества и особенно уводы одиночных людей в плен из Кахетии были явлениями обыкновенными, почти ежедневными. Горцы обратили это в прибыльное ремесло, получая за выкуп пленных значительные деньги и не иначе как звонкой серебряной монетой (в золоте они толку не знали). Кавказское начальство вынуждено было издать даже строжайшее запрещение выкупать пленных, что, однако, редко исполнялось, и выкупы продолжались до самого конца войны, часто и самими же начальствами, когда попадались лица, почему-либо пользовавшиеся особенным вниманием.

У подножия крепости образовался большой форштадт, главное население коего составляли женатые солдаты расположенных здесь войск и армянские торговцы, построившие целые ряды лавок. Торговля была оживленная и привлекала постоянно толпы туземцев, исподволь совершенно освоившихся с русской властью, хотя ненависть и затаенная вражда к нам тогда ни для кого не были тайной. Сомневаюсь, чтоб и теперь, через тридцать лет после описываемого мною времени, чувства мусульманского населения вообще, а лезгин в особенности, во многом изменились, невзирая на уничтожение того очага, пламя коего поддерживало эту ненависть и рисовало даже надежду на совершенное изгнание гяуров. Я говорю о власти Шамиля и мюридизме.

Придя к обеду, я был представлен супруге генерала, молодой, красивой даме; за столом был еще кажется один офицер; обед по своей обстановке и прочему вполне оправдал выражение генерала «на щи и кашу»: три *обер-офицерских* блюда, бутылка кахетинского вина и графин квасу, да денщик в форменном костюме в качестве прислуги. Разговор вертелся на погоде и обыкновенных предметах. После обеда генерал спросил, когда я намерен уезжать; я воспользовался этим случаем и попросил позволения совершить поездку не по почтовой дороге опять назад за Алазань, а по линии, чтобы познакомиться с местностью. Хотя подобная поездка была сопряжена с опасностью и разными затруднениями, требовала особых распоряжений насчет верховых лошадей, конвоя и т. п., однако просьба моя была весьма любезно принята, и генерал обещал, что к следующему утру мне будут доставлены все нужные «открытые листы». Затем я откланялся его превосходительству и возвратился к Д. И. Гродскому, с которым и провел весь вечер до поздней ночи в несмолкаемых разговорах о положении линии, о разных военных предположениях и действиях, о предстоящей перемене начальства в Закаталах и слухах, что на место Шварца будет назначен Чилияев, командир Тифлисского полка, о котором я упоминал выше.

Вспоминаю здесь, кстати, о дальнейшей судьбе генерала Шварца. До дела со взбунтовавшимся в 1844 году элисуйским султаном Шварц был малоизвестный генерал-майор, командир бригады линейных батальонов, с этого же происшествия в течение трех лет произведен в гене-

рал-лейтенанты, получил несколько звезд, стал известностью не только на Кавказе, но и в высших сферах петербургского военного мира. Наконец, в 1848 году, вскоре после моей поездки в Закаталы, был назначен начальником Девятнадцатой пехотной дивизии, расположенной в Георгиевске. Казалось, судьба готовила ему весьма почетное поприще, а окончил он его самым плачевным образом, и вот по какому случаю. Из казенного денежного ящика, стоявшего при часовом у дверей квартиры генерала в Закаталах, летом 1847 года случилась покража денег, как казенных, так на беду и его собственных, хранившихся в ящике, что-то около 20 тысяч рублей. Все плац-майоры и полицейские чины были подняты на ноги; генерал выходил из себя и требовал, чтобы деньги были найдены. Услужливые подчиненные оказали уже слишком много усердия, хватали, арестовывали, наконец, прибегли к пыткам. В числе заподозренных попался какой-то донской казачий урядник, молодой человек, сын донского штаб-офицера, настойчиво отвергавший всякую вину; кормили его селедками, не давая после пить, сажали в часовню, где складывались тела умерших холерных и тому подобное, пока довели человека до тифа, от которого он в несколько дней в госпитале и скончался. Между тем деньги пропали, воров не отыскивали, и дело, по-видимому, пришлось «предать воле Божьей!». Однако хотя поздно, а дошла-таки весть об этом до высшего начальства; по представлению князя из Петербурга приехал генерал-адъютант Шильдер в Закаталы, произвел строгое следствие, подтвердившее, к сожалению, факты о пытках; назначили суд, и генерал Шварц был отставлен от службы, а комендант подполковник Печковский и плац-майор Грибовский разжалованы в солдаты. Рассказывали после, будто какой-то арестант-солдат сделал в Тифлисе признание в воровстве этих денег, но дальнейшее мне неизвестно. Вообще это дело передавалось в разных видах, а я передаю так, как слышал в Закаталах от свидетелей. Возвращаюсь к моему рассказу.

Около двадцатых чисел января 1848 года я оставил Закаталы и со своим неразлучным Давыдом, верхом, с конвоем из нескольких милиционеров, поехал по Лезгинской линии через Белокань, Лагедехи и другие посты, занятые частью войсками, частью грузинами-милиционерами, до села Кварели. Здесь я отдохнул сутки у князей Чавчавадзе, знакомых мне по описанной мною уже подробно поездке с покойным Челокаевым в 1844 году, представлялся полковнику Маркову (предлагавшему когда-то прибавить к моей фамилии «дзе») и затем отправился обратно в Тионеты.

Окружной начальник встретил меня с холодным равнодушием, ни единого вопроса о моей поездке, о которой он был официально извещен из Тифлиса (что, без сомнения, возбуждало его зависть и еще усиливало озлобление), ни какого-либо замечания или объяснения по делу о недостающих деньгах, по коему его кабинет-секретарь за это время настроил уже немало крючкотворных листов, все под большой тайной, как передали мне переводчик и писарь.

Дня через три-четыре после моего возвращения в Тионеты я получил собственноручное письмо генерала Шварца, в котором он, весьма лестно отзываясь о моей службе и прочем, повторял свой личный совет и даже просьбу прекратить всякие недоразумения с новым окружным начальником и оставаться на своем месте, что это может повести ко многим для меня отличиям, будет приятно самому главнокомандующему и что он, генерал Шварц, вместе с тем пишет в таком же смысле и окружному начальнику майору князю Левану Челокаеву. Что за притча? Что это ему вздумалось высказывать такое деятельное участие к служебным отношениям мелкого, вовсе почти ему неизвестного чиновника? Я решительно недоумевал. Что я сделал с этим письмом, объяснялся ли с Челокаевым, отвечал ли генералу или за последовавшим почти в то же время новым его назначением начальником Девятнадцатой пехотной дивизии и отъездом из Закатал не отвечал, решительно теперь не помню. Самое письмо, собственноручно Григорием Ефимовичем Шварцем писанное, живо рисуется у меня до сих пор перед глазами, и очень еще помню, что в нем было немало грамматических ошибок по части буквы «е» и т. п., но написано было хорошо и, очевидно, человеком, набившим руку, во всяком

случае не много было в те времена генералов (а может, и не только «в те»), которые умели сами так написать деловую бумагу или письмо. Однако это письмо не достигло цели: сближения с Леваном Челокаевым все-таки не последовало и через несколько месяцев, как видно будет из дальнейшего рассказа, я оставил Тушинский округ навсегда.

## XV.

Между тем пока я вращался в сфере высших кавказских властей и интересов, забота специалиста по части каверзных бумаг возымела свое действие в сферах более низших, каково губернское правление. Там, прочитав все эти рапорты, выписки и прочее, постановили произвести о растрате казенных сумм и беспорядках по ведению денежных книг и отчетностей законное следствие и следователем назначить чиновника особых поручений при тифлисском губернаторе Шпанова. Узнал я об этом только тогда, когда в один прекрасный день в мою полутемную саклю явился казак, просить меня в окружное управление, где ожидает-де чиновник из Тифлиса. Прихожу, раскланиваюсь с г-ном чиновником, и оба остаемся в заметном недоумении. Я почему-то представлял себе следователя в виде заматерелого канцелярского служаки, титулярного советника с пряжкой «за XX лет беспорочной службы», с красным носом, табакеркой и злобно потирающего руки при виде молодой жертвы, которую он с легкостью опутает целым рядом статей законов, приложений, продолжений, примечаний, указов и форм... А вдруг вижу молодого человека лет 22–23 с артистическими длинными волосами, в пиджаке, с лорнеткой и львиными ногтями, весьма тщательно на мизинцах отделанными – одним словом, тип салонный, а не канцелярский. Мне даже хотелось рассмеяться... Г-н Шпанов, в свою очередь, как бы с удивлением спрашивает: «Это вы помощник окружного начальника, губернский секретарь З.?» – «Я самый, к вашим услугам». – «Удивительно... а я, – говорит, – представлял себе вас таким старым подьячим, сутягой, с которым ступай тут возись, а он будет закидывать статьями, указами да всякими крючками, в век не расхлебаешь». – «Ну, – говорю, – и я представлял себе следователя таковым же; оба мы значит *разочаровались*». Кончилось тем, что прежде всего мы передали друг другу свои биографические сведения. Оказалось, что Шпанов действительный студент Петербургского университета, помещик Пензенской губернии, дальний родственник губернатора Ермолова и приехал к нему послужить; собственно, он предпочел бы поступить в гусары, где уже служит его старший брат. Затем он совершенно откровенно признался мне, что понятия не имеет о следственных делах вообще, а о подобных в особенности, и просто спрашивал моего же совета, что ему делать и с чего начать. Странно и почти невероятно должно это показаться, а между тем это совершенная истина. Я сначала рассказал ему всю суть дела – не так, как была она описана в донесениях Левана Челокаева, старавшегося в каждом обстоятельстве выгораживать своего умершего предместника (свой, дескать, князь, да и поддержка у вдовы сильная в Тифлисе) и во что бы то ни стало обвинить меня, а по сущей правде и со всеми побочными обстоятельствами, вызвавшими вражду нового начальника и т. д. Я посоветовал ему начать с того, чтобы дать мне запрос, требуя подробного объяснения по делу; я же дам ему такой обстоятельный ответ, который сам уже укажет ему дальнейший образ действий. Так Шпанов и сделал.

Все время этого разговора мы с ним ходили взад и вперед по большому двору старой крепости, не пропускали, конечно, без замечаний ни типически-отвратительной рожи кабинет-секретаря, ни неуклюжей фигуры самого князя Челокаева, смеялись, шутили по поводу подходивших к реке за водой местных красавиц и, одним словом, вели себя вполне, как подбаивают людям двадцатитрехлетнего возраста. Все это не ускользало от злобных взоров моих преследователей, все более и более бесновавшихся от ничтожности результатов, достигнутых их писаниями, которые они считали смертоносными...

Я в тот же день засел за составление ответа, рассказал подробно всю свою службу в округе, как прежний окружной начальник большую часть времени проводил у себя в деревне, как все управление носило патриархально-помещичий характер, как все получаемые из казначейства деньги привозились к покойному Михаилу Челокаеву, который распорядился ими по своему усмотрению, раздавая после жалованья частями разновременно, как вся сумма, полученная незадолго перед его смертью, поступила на пополнение собранных с тионетских жителей податей, лично им от старшин принятых и не отосланных в свое время в казну, по случаю свадьбы старшей дочери Челокаева, потребовавшей больших расходов и прочее – одним словом, все, как в действительности. Что же касается моей вины, то я сознавался в ней откровенно; состояла же она в том, что я не исполнил требований закона и не донес ни при жизни, ни даже после смерти Челокаева об этой растрате.

Но, объяснял я, при жизни не сделал я этого потому, что доносчиком быть не могу и не желаю, да и бесполезно бы было: пока по моему доносу начальство сделало бы какое-нибудь распоряжение, Челокаев, без всякого сомнения, узнал бы об этом, употребил бы все усилия достать 2000 рублей, и кончилось бы тем, что я оказался бы не только доносчиком, но еще и ложным, а последствия этого очевидны... После же смерти Челокаева я не донес, вполне уверенный, что вдова, как она сначала и готовилась, хотя частями удовлетворит, кого следует, неполученным от покойника жалованьем, и тем, во-первых, оградит его память от нареканий, следствий и прочего, во-вторых, оградит свое право на получение пенсии и помещение детей в казенные учебные заведения. Да не приезжай новый начальник, давший всему делу другой оборот и явно указавший вдове отказаться от уплаты, все было бы пополнено и ни до каких бы следствий не дошло. Наконец, я просил следователя проверить все мной показанное спросом под присягой поименованных в ответе лиц и вытребовать по делу те документы, которые подтвердят мои слова.

Шпанов принялся за дело по указанной дороге, а я, вспомнив данное А. А. Потоцкому обещание описать ему мою поездку в Закаталы, принялся за длинное письмо с подробностями моего свидания с генералом Шварцем, возвращения в Тионеты, о контрастах приемов меня князем Михаилом Семеновичем Воронцовым и князем Леваном Челокаевым; упоминал о его намеках относительно блестящей карьеры и о следователе по обвинению меня чуть не в уголовных преступлениях... Картина выходила вообще рельефная.

На половине письма я был прерван приходом одного, лично мне знакомого матурского пшавца, весьма храброго и расторопного человека, с каким-то кистином, поселившимся недавно в хевсурском селении Муцо. Тут я вспомнил, что когда я в ноябре 1847 года пытался перевалиться через хребет в Хевсурии и, не успев в этом, решил послать туда человек сорок, этот пшавец вызвался идти, с тем чтобы я позволил ему со знакомым кистинским выходцем отправиться оттуда в неприятельские общества вниз по Аргуну для разведывания о судьбе захваченного несколько лет назад в плен мальчика, его родственника. Подобные розыски пленных случались сплошь и рядом, а выходец кистин, имевший везде родных и знакомых, мог безопасно провести одного человека, особенно по такому делу, которое составляло статью дохода у горцев и особенно ими покровительствовалось. Я с удовольствием позволил ему отправиться и при этом поручил хорошенько осматривать местность по течению реки Аргуна и боковым ущельям и вообще постараться собрать интересные сведения о местах, через которые ему придется проходить.

Вот этот пшавец, пройдя недель шесть по Аргуну и Чечне, о пленном родственнике не добился никаких известий, но помня мои наставления, осмотрел много мест и издала даже укрепленный аул видел, в котором Шамиль учредил свою резиденцию после взятия нами в 1845 году Дарго. Теперь пшавец с кистином и явились рассказать мне обо всем подробно. Долго я слушал интересную повесть его походов, его замечаний насчет системы управления Шамиля и принимаемых им жестоких мер к утверждению между полуязыческими гор-

цами магометанства; описание Веденя, в который рассказчики, впрочем, проникнуть не могли, ибо там соблюдается чрезвычайная осторожность и на всякого приходящего смотрят весьма подозрительно. Щедро угощенные мной пшавец и кистин отправились на несколько дней в Кахетию по каким-то частным своим делам, обещав на обратном пути явиться ко мне и получить обещанные им несколько десятков патронов, а я принялся за прерванное письмо к Потоцкому, и желая поразнообразить материал, придать письму более интереса, прибавил и рассказ о путешествии моего пшавца по горам до Веденя и о собранных им сведениях. Я думал еще выразить этим Потоцкому, как интересующемуся краем, нечто вроде любезности за его дружески обязательное расположение и никаких других последствий от своего письма, само собой, и не предвидел. Между тем из этого вышло совершенно неожиданное обстоятельство.

Через несколько дней после отправления письма в Тионеты явился урядник конвойной команды главнокомандующего Заридзе с предписанием окружному начальнику выслать меня в Тифлис по делам службы, а ко мне с письмом – не могу только вспомнить от Потоцкого или князя Ильи Орбельяни, – чтобы я постарался привезти с собой и пшавца с кистином, которых князь Михаил Семенович желает лично видеть, и что он читал мое письмо и был весьма заинтересован всем.

Вот история! Ту т – следователь и гроза в виде неутомимых преследователей на почве самой удобной для втаптывания людей в грязь (особенно в те времена, при канцелярской тайне); там – наместник кавказский князь Воронцов, читающий мое частное письмо, заинтересованный им, посылающий за мной!.. А ведь в этом письме говорилось и о следователе, и о письме генерала Шварца, и о враждебных отношениях ближайшего начальника.

На вопрос Челокаева, зачем меня требуют, я отозвался незнанием. Чтобы совершенно скрыть повод моей поездки, я отправил своего Давыдку в Кахетию, разыскать матурского пшавца с кистином, передать им о предстоящей поездке в Тифлис и ожидающем, без сомнения, их награждении и приказать им боковым путем, не заезжая в Тионеты, отправиться в Эрцойскую долину, где я с ними встречу и уже дальше вместе отправимся. Затем, через день, я с урядником Заридзе выехал. От него я узнал только, что ему приказано было ехать в Тионеты передать по адресу пакеты и со мной и двумя горцами прибыть в Тифлис, не разглашая нигде о цели и направлении своей поездки. В Эрцойской долине я ночевал, и туда же прибыли Давыд с пшавцем и его товарищем. Я им рассказал о предстоящем представлении их самому сардарю, предупредил, как себя вести перед ним и, кстати вспомнив наставление Потоцкого, предупредил их, чтобы в случае вопроса князя о влиянии, произведенном в горах взятием Салты, отвечали, что, дескать, страх это нагнало везде ужасный и надежды на успех дальнейшего сопротивления Шамиля очень ослабили... Хитрые горцы очень хорошо меня поняли и с улыбкой говорили, что я могу быть спокоен, что уже они знают, *как с важными людьми говорить следует*.

Дела давно минувших дней! И кто же упрекнет покойного князя за несколько преувеличенное значение, придаваемое им делу, совершенному под его личным начальством, при беспримерных подвигах мужества и геройской храбрости, оказанных как нашими войсками, так и горцами, при весьма значительных потерях обеих сторон в течение пятидесяти двух дней осады Салты и двукратном штурме? Кто бросит камнем в меня, последовавшего совету опытного придворного и позволившего себе в сущности безвинную лезть слабости великого человека?..

По приезде в Тифлис я прежде всего отправился к Потоцкому узнать, как все это случилось. Он весьма подробно рассказал мне сначала о том, как князь Михаил Семенович, серьезно заинтересованный моей запиской о проложении через Хевсурию военной дороги на Аргун, невзирая на возражения самого начальника главного штаба, что это дело и бесполезное, и едва ли даже удобоисполнимое, приказал спросить мнение генерала Шварца и на него же возложил уладить мои отношения с новым окружным начальником, ибо князь считает-де мое пребывание в округе весьма полезным и желал бы, чтоб оно было как можно продолжительнее (вот и разгадка участия генерала Шварца), что полученным от Шварца уклончивым ответом князь

остался недоволен и, оставив переписку эту у себя, собирается сделать какие-то особые распоряжения. Зная все это, Потоцкий счел уместным показать князю мое письмо, заключавшее в себе, кроме подробностей поездки в Закаталы, совершенно новое, князю совсем неизвестное обстоятельство о следствии по поводу растраченных умершим Челокаевым денег и стараниях впутать меня в это дело; наконец, весьма интересное описание походов пшавца, проникнувшего так далеко в неприятельскую сторону и видевшего даже Ведень, о котором до сих пор имелось вообще весьма мало сведений. Князь с большим удовольствием прослушал письмо, хвалил сжатость слога, о следствии хотел узнать подробнее через начальника гражданского управления, а меня приказал вытребовать. Кроме этого, Потоцкий еще предупредил меня, что князь не желает пока оглашать ни того, что он читал мое письмо, ни того, что вытребовал меня с двумя горцами к себе, и что поэтому мы будем представлены князю им, Потоцким, рано утром, когда во дворце еще никого нет, для чего к семи часам мы должны были явиться к Потоцкому.

На другое утро часу в восьмом Потоцкий повел нас во дворец; мы прошли не по парадной лестнице, а через сад и очутились в спальне князя, который только что оделся и что-то говорил со своим камердинером Джовани. Меня князь встретил по обыкновению весьма любезно, затем через меня же стал расспрашивать горцев, особенно о положении Веденя и настроении чеченцев, наконец, и о том, какое влияние имело взятие неприступной шамилевской крепости Салты? Мой пшавец действительно не ударил лицом в грязь и отвечал так, что мне оставалось только удивляться его дипломатическим способностям. Князь по этому поводу что-то сказал Потоцкому по-английски, поблагодарил горцев за их сведения, тут же из своего туалетного столика вынул две пачки по десяти серебряных рублей и отдал каждому, а меня пригласил обедать. Вышли мы опять через сад; горцы отправились шляться по базару и удивляться (кистин первый раз был в Тифлисе) этому, на их взгляд, чуду, а я поехал представляться начальству.

Губернатор генерал-майор Ермолов, не успев я разинуть рта и произнести половину предсловутой фразы «ваше превосходительство, честь имею явиться, помощник» и т. д., разразился громом и молнией в присутствии разных стоявших тут же в зале просителей обоого пола и разного звания. «Как вы смели уехать из округа, когда я послал туда чиновника производить над вами следствие? Кто вам разрешил? Я вас с жандармом вышлю обратно сейчас же!» (при словах *над вами следствие* большинство присутствующих с каким-то особым выражением глаз обратилось ко мне, юноше, как-то мало похожему на подследственного чиновника). Только что я произнес: «Я прибыл по приказанию князя», – новый взрыв богатырского крика звонким командирским голосом раздался по залу: «Какого князя? Вы еще смеете рассуждать» и т. д., и т. д. Отпустив поочередно всех трепетавших просителей, обращаясь к каждому со стереотипной фразой «я прикажу ваше дело разобрать», его превосходительство подошел ко мне: «Какой князь, говорите вы, вас вытребовал?» – «Князь Михаил Семенович Воронцов, ваше превосходительство, наместник кавказский, предписал окружному начальнику выслать меня по службе в Тифлис, а иначе как же бы я уехал». – «Гм, сам наместник; какие же это у вас отношения служебные с князем?» – «Не знаю, я еще не представлялся его светлости». – «Хорошо-с, извольте идти; я узнаю, в чем дело».

Живо помню эту комическую сцену и еще более комическую, когда часа в четыре в тот же день я был вытребован к тому же свирепому губернатору, и войдя в его кабинет, был встречен словами: «Я справлялся, действительно князь Михаил Семенович приказал вас вытребовать, кажется, по каким-то делам военного ведомства. А что там делает мой чиновник Шпанов?» – «Приступил, говорю, к следствию». – «Как же это вы, молодой человек, размотали казенные деньги, да еще скрыли все и не донесли своевременно?» – «Я никаких денег не разматывал, никогда их не получал и отвечать за них не обязан, все это обнаружится следствием; а что я, вступив в управление округом после смерти князя Челокаева, не донес о недостатке, то это правда, и по закону я виноват; но сделал это потому-то и потому-то» (объяснил я ему

подробно). – «Как же мне доложили, что вы размотали несколько тысяч рублей?» – «Не знаю, как вашему превосходительству доложили, но, во-первых, всего недостает около двух тысяч, и все это деньги, следуемые в жалованье служившим в окружном управлении лицам, в том числе и мне; во-вторых, я не мог размотать того, что ко мне никогда в руки не попадало; окружной начальник лично получал высылаемые из казначейства деньги, сам их раздавал, это известно всем; как же я мог их размотать?» – «Ну, очень рад, если так, я обращаю внимание на это дело». Я откланялся.

За обедом у князя в тот день был и помощник начальника главного штаба генерал-майор Н. И. Вольф, который, подойдя ко мне, весьма дружески меня приветствовал, расспрашивал о поездке в Закаталы, о причинах моих несогласий с новым окружным начальником, наконец просил после обеда зайти к нему и привести двух горцев, о похождениях которых князь ему рассказывал, и поручил ему же еще раз их подробно расспросить и записать все, особенно до Веденя касающееся. Исполняя это приказание, я около восьми часов явился к генералу Вольфу с пшавцем и кистином; они были более подробно опрошены, самое существенное из их показаний было генералом записано, причем он заметил, что сведения о Ведене не могут иметь важного значения, потому что они издали на него посмотрели и ушли. Затем он обещал похлопотать, чтобы их наградили, и отпустил, а я остался у него чай пить и просидел весь вечер, рассказывая мои различные наблюдения над горцами, очерки местностей и прочее. Генерал Вольф, бывший профессор военной академии, ученообразованный офицер Генерального штаба, совершенно кабинетный человек, как говорили, не пользовался особым уважением главнокомандующего, главнейше будто бы потому, что в Даргинскую экспедицию оказался недостаточно боевым и равнодушным к опасности. Генерал был человек весьма образованный и умный. Он, впрочем, еще долго оставался в Тифлисе и только в 1852 году, кажется, уехал в Петербург, где был назначен членом военного совета. Ко мне он был, видимо, расположен, очень любезно меня всегда принимал и неоднократно повторял, что очень жалеет, что не может ничего для меня сделать, ибо сам никакой видной роли не играет.

На другой день вечером Потоцкий сообщил мне, что князю докладывали письменное показание горцев и ходатайство генерала Вольфа об их награждении, и он приказал мне явиться с ними к В. П. Александровскому для выбора им из экстраординарных вещей сукна на кафтаны. Дикари на другой день были мною приведены в казначейство наместника, где без всякого колебания остановили свой выбор на красном сукне и, счастливые подарками, пребыванием в городе чудес, зрелищем вольтижеров, которое им тоже было показано, уехали домой, где их рассказам будут и удивляться, и завидовать, и, пожалуй, не верить.

Я остался в городе, в ближайший понедельник был на вечере у князя и тут же узнал от Потоцкого под секретом, что обо мне было нечто вроде особого совещания с начальником гражданского управления князем Бебутовым и начальником главного штаба, на котором князь высказал, во-первых, что, не ограничиваясь отзывом генерала Шварца, нужно на месте проверить основательность моих предположений, для чего он желает командировать Генерального штаба полковника В.; во-вторых, что ему особенно желательно мое дальнейшее служение в округе, но вместе с тем он находит всякое нарушение дисциплинарных отношений подчиненного к начальнику делом опасным и недопускаемым, поэтому полагает поручить В. устроить и соглашение между мной и Леваном Челокаевым; если же и это не удастся, то я как младший должен быть устранен. И начальник главного штаба, и начальник гражданского управления совершенно согласились с мнением князя. Эти столь важные для меня сведения произвели, сколько мне теперь помнится, какое-то тревожное на меня впечатление. Полковника В. я видел только один раз в 1846 году, во время проезда князя Воронцова через Тионеты, и заметил, что он оказывал большое внимание бутылкам, но что он за человек и чего можно мне ожидать от его участия, я себе представить не мог.

На другой день в девять часов я уже был у Потоцкого и просил его совета, как мне дальше быть: ожидать ли приказания уезжать или идти откланиваться без приказания? Он советовал ждать и притом высказал надежду, что поездка В. будет иметь хороший результат и для дела, и для меня лично.

Не успел я уйти от Потоцкого, как за мной пришел вестовой казак с приказанием явиться к главнокомандующему. Через час я был там и после доклада вошел в кабинет. Князь, сдвинув очки на лоб, обратился ко мне по обыкновению со своей ласковой улыбкой и после нескольких приветливых слов объявил, что он командирует полковника В. проверить на самом месте основательность моих предположений и дополнить всеми нужными сведениями, что я могу теперь уезжать в Тионеты и ожидать там приезда В., коему должен буду везде сопутствовать. «С нетерпением буду ожидать его возвращения и донесения», – прибавил князь. Я раскланялся и пошел явиться еще к князю Василию Осиповичу Бебутову и губернатору Ермолову (кажется, его звали Николай Сергеевич). Этот простер свою любезность до того, что сам предложил мне получить казенные прогоны за поездку в Тифлис и обратно, совершенную по приказанию наместника, и тут же приказал своей канцелярии сделать относящиеся до этого распоряжения.

## XVI.

Было начало марта 1848 года. Я оставил Тифлис, погруженный в расцветавшую зелень садов, пестревших бледно-розовыми цветками на миндальных и персиковых деревьях; на столиках зеленщиков стали появляться пучки молодых трав, составляющих любимейшую закуску грузин и армян. Воздух был мягкий, влажно-теплый, дышалось легко, и вроде не жгучие лучи солнца придавали всему особенно радостный колорит. Туземцы толпами встречали весну под открытым небом: на плоских кровлях домов, на лужайках, по окраинам города перед духанами или в садах раздавались песни, звуки тоскливой зурны и бубен, заглушаемые нередко добродушно-буйными возгласами веселой компании, одушевленной каким-нибудь новым остроумным тостом. Группы модных львов и дам разгуливали по Головинскому проспекту, устраивались кавалькады и пикники в высших слоях чиновной и туземной аристократии. Одним словом, начинались весенние удовольствия, и все кинулись после двух-трехмесячных холодов, грязи и слякоти пользоваться наступившими прекрасными днями, имея в виду их непродолжительность, ибо март – сумасшедший месяц (*გიჯი* по-грузински) и вдруг после самой великолепной погоды разразится холодом, снегом, бурей, всякой климатической гадостью, продолжающейся нередко и далеко в апреле.

Приехав на другой день в Тионеты, я нашел там не тифлисскую весну, а нечто вроде поздней суровой осени: холод, резкий ветер, кое-где снег лежал, грязь, серые тучи – все, навещающее уныние.

Следователь Шпанов чрезвычайно обрадовался моему возвращению, расспрашивал о Тифлисе, глотал слюнки при рассказе о тамошней погоде, пикниках и прочем, решил на другой же день уехать под предлогом неполучения от вдовы Челокаева ответа и невозможности без этого делать что-нибудь дальше. И действительно уехал.

Дня через три-четыре приехал В. и остановился в башне, занимаемой окружным начальником, который поспешил ее совсем очистить для такого важного гостя. Узнал я о его приезде только через несколько часов, когда он успел уже набеседоваться с Челокаевым и, нагрузившись за обедом добрым кахетинским, вздумал потребовать меня к себе. Прихожу – тут же и Леван Челокаев. «Это вы г-н З.?» – «Я-с». – «Вот видите, главнокомандующий какое снисхождение оказал вам, что по вашей записке послал меня удостовериться, правда ли, что вы там *понаписали*; хотя, конечно, это мог бы *сделать* и ваш *начальник*, но князь Михаил Семенович, именно потому что князь Леван еще новый здесь человек, не поручил ему этого дела. Так вот-

с, – продолжал не совсем твердым языком развалившийся на тахте<sup>4</sup> полковник, – дня через два, когда все будет готово, мы с вами и поедем, посмотрим, в чем дело; а между тем я вот слышу от вашего начальника, что вы до сих пор не сдали ему, как следует, по закону, казенных денег и всяких дел и бумаг и что вообще вы не соблюдаете должной подчиненности и почтительности в бумагах. Это нехорошо, вы, молодой человек, должны дорожить вниманием начальства, и князь Михаил Семенович поручил мне сказать вам, что хотя он и желает, чтобы вы продолжали служить здесь, но само собой только при условии, чтобы ваш ближайший начальник на это согласился». – «Я ничего против этого не имею, – вставил камбечи Леван, уткнув глаза в пол. – Только *нужно как следует служить*» и еще что-то в этом роде.

В каком положении я находился после этих речей, легко себе представить. Так вот каким образом г-н В. принял за «дипломатическое» поручение устроить соглашение между окружающим начальником и мной. Нечего сказать, и очень тонко, и очень деликатно. Что я отвечал ему тогда или даже отвечал ли вообще, не помню; вернее, что ничего не отвечал: сильно возмущенный чем-нибудь, я терял хладнокровие и способность к препирательствам. Я вышел просто придавленный всей горечью только что выдержанного поражения; грубый начальнический тон В., торжествующие взгляды Челокаева произвели на меня такое действие, что я почувствовал давление в горле и готов был заплакать. В первую минуту я думал отказаться от поездки и написать подробно в Тифлис. То казалось мне лучшим дожидаться утра, когда В. будет, вероятно, в более нормальном состоянии, и пойти с ним объясниться, то благоразумие диктовало мне опять перенести пока неприятность, не давать какой-нибудь резкой выходкой этим господам в руки лишнего оружия против меня. Чем больше я ломал голову, тем менее решимости было остановиться на чем-нибудь. И не мудрено, дело шло не только обо всей служебной будущности, но в крайнем случае, о хлебе насущном; лишенный всякой опоры в борьбе, я невольно трусил. Между тем и раздражение стало слабеть; я весь следующий день никуда не выходил из своей сакли, думал, передумывал и кончил тем, что через день выехал с В. в Хевсурию. Челокаев, желая выказать свою угодливость важному в его глазах лицу, приближенному к наместнику, пустился тоже с нами.

Полковник В. слыл в военных сферах за очень способного, отлично пишущего военные репортажи офицера; высшие власти считали его только кутилой, но товарищи знали его несчастную слабость и звали его *пьяным В.* Глаза у него были светло-стеклянного цвета, с совершенно бессмысленным выражением, *телячьи*, как говорится. Он был не глуп и даже талантлив, но характера вздорного, грубого, вообще человек неприятный. Впоследствии назначенный командиром Тенгинского пехотного полка, он допился до чертиков, которых щелчками стогнял со своих ног и ловил в карманах, на смех ординарцам и прислуге. Должны были взять у него полк, произведя в генералы... Он умер в конце 1853 или начале 1854 года от белой горячки...

Такой отзыв о человеке, которым я имел повод быть недовольным, может вызвать подозрение в пристрастии или даже клевете. Но в предвидении этого я раз и навсегда должен оговориться: давно отказавшись от службы, от всяких честолюбивых видов, доживая свой век в самой скромной, никем не замечаемой сфере частного человека, я не волнуюсь ни завистью, ни мстительностью и стараюсь в своем рассказе держаться лишь строгой истины, даже уменьшая по возможности дурное, которое приходится о ком-нибудь вспоминать. Не говоря о бесчестной стороне такого поступка, как клевета, особенно на мертвых, какой в настоящем случае практический смысл имело бы это? Я не историческое лицо, не представитель какой-нибудь партии, преследующей всякими путями свои цели, да и какой-нибудь полковник В. не настолько важное и историческое лицо, чтобы такой или другой отзыв о нем мог иметь какое бы то ни было значение для потомства. Что именно мне приходится отзываться о дурных сторонах людей, бывших тридцать лет назад причиной неприятностей для меня, – это чистая случайность; не

---

<sup>4</sup> Тахта – нары, род дивана, покрытого ковром.

хороши были эти господа сами по себе, а не исключительно по отношению ко мне. Впрочем, и причиненные ими мне неудовольствия никаких особых последствий не имели и «моей судьбы» не изменили. Я тем больше теперь могу вспоминать о них и об их несправедливых выходках не только не озлобленно, а даже с некоторой добродушной улыбкой.

Зима 1847–1848 годов была особенно сильная, даже в Тифлисе, в январе недели три на санях ездили; можно себе представить, что происходило в ущельях Главного хребта, да еще в марте, самом скверном месяце в горах и за Кавказом. Из Тионет мы сначала поехали в село Жинвали Душетского уезда, где соединяются две Арагвы, Гудомакарская с Пшавской; от этого пункта я в своей записке и предлагал начать разработку дороги. Сначала все шло хорошо, день был ясный, дорога верховая порядочная, В. был в хорошем расположении духа, много говорил и, между прочим, рассказал нам новость – февральскую революцию в Париже и бегство Луи Филиппа. Леван Челокаев не совсем ясно понимал, в чем дело, и очень затруднялся, как ему скрыть, что он не знает, кто это Луи Филипп и вообще что тут интересного?

Дальше дорога все становилась хуже, каменистее, с крутыми спусками и подъемами, узенькими карнизообразными тропками, с частыми переправами через бурливые потоки и т. п. принадлежностями кавказских горных дорог. Мы, привычные, не обращали на это никакого внимания, но В., боявшийся спусков и тропинок, вынужденный поминутно слезать с коня и опять садиться, начинал сердиться, ругаться и чаще требовать у бывшего с ним донского урядника Астахова рюмку рому или стакан портеру. С каждым шагом дальше трудность движения увеличивалась, и началась борьба со всеми ужасами грозной природы. Кто сам не совершал подобных переходов, тому никакое описание не даст достаточно рельефного изображения. По ущелью Хевсурской Арагвы от села Барисахо до Хахмат трудности были действительно едва одолимы, даже для привычных людей. В некоторых местах снега образовали по обеим сторонам ущелья отвесные стены, и не было другого пути, как по заваленному огромными камнями руслу реки, катившей с грохотом пенистые волны, через которую, поддерживая друг друга, мы кое-как пробирались. Местами снежные завалы, обрушившиеся с противоположных сторон в одно время, сталкивались над рекой, образовывали своды, обледенялись и заставляли спертый поток просасываться под этими снежными мостами; нам приходилось карабкаться на них, проходить, слыша на каждом шагу треск снежного свода... Обрушиться было бы почти верной гибелью.

Мы делали средним числом полторы-две версты в час. Нетерпеливое раздражение В. росло. Горцы в полголоса спрашивали меня, на кого г-н «упроси» (старшбй) сердится, и когда я им сказал, что на дурную дорогу, то они чрезвычайно удивились: во-первых, в марте в горах лучшей дороги и быть не может, во-вторых, тут никто не виноват, а не следовало-де в это время ехать. Однако до урочища Орцхали, где мы завтракали, В., хотя уже, быть может, в десятый раз требовавший рому, все еще сохранял достаточно приличия, чтобы ругательства свои относить к дороге. Я, впрочем, поначалу уже видел, что ничего хорошего из всей этой поездки не выйдет. Не говоря о том, что с человеком, большей частью нетрезвым, трудно было бы дело сладить, В. своим грубым начальническим тоном оттолкнул меня, не обращая ко мне ни с какими вопросами, не требовал никаких разъяснений, а следовательно, и командировка его становилась совсем бесцельной. Когда мы тронулись дальше, В., почти на руках передвигаемый проводниками горцами, окончательно вышел из себя, страх и хмель боролись в нем: он стал уже прямо обращаться ко мне: «Куда вы завели меня? Как вы, милостивый государь, осмелились подавать главнокомандующему такие записки? Я возвращусь и доложу князю, что значит оказывать внимание всяким самозванным авторитетам!». Сначала я ему очень хладнокровно отвечал, что я его никуда не веду, а едет он, исполняя приказание главнокомандующего; что я удивляюсь, как он мог в горах в марте месяце ожидать лучшей дороги, что если бы дорога была хороша, то незачем было бы ее разрабатывать, а ведь это и есть главный предмет моей записки; наконец, один раз я не выдержал и прибавил, что если он будет продолжать таким тоном обра-

щаться ко мне, то я прежде его уеду назад. Однако стихнувший на несколько минут В. при каком-то скверном обледенелом спуске опять расшумелся и обратился с дерзостью ко мне; я, не говоря больше ни слова, повернул со своим Давыдом назад, успел до ночи пробраться за Орцхали, где и остановился в ближайшей пшавской деревне ночевать. Окончательно возмущенный всем происшедшим, я решился из Тионет написать обо всем подробно Потоцкому, а вместе с тем официально просить об увольнении от службы в округе.

На заре меня разбудили и подали записку от окружного начальника: он от имени В. просил меня возвратиться, ибо в противном случае он своей поездки продолжать не может и главнокомандующий останется всем этим весьма недоволен, что, конечно, для меня отзовется самыми вредными последствиями. Челобаев извинял горячность В. непривычкой к таким переездам и надеялся, что нечто подобное уже не повторится, тем более что успели добраться до Хахмат и прошли самую скверную часть пути. Полуграмотно составленная переводчиком записка с нацарапанной подписью Челобаева вызвала меня на раздумье. По первому увлечению я уже написал было резкий ответ, что я подобного обращения с собой никому не позволю, что если бы г-н В. был в трезвом виде, то я еще иначе бы с ним поговорил, что, наконец, я раньше его буду в Тифлисе и расскажу все, как было. Доставивший записку хевсур из Хахмат словесно передал мне, что при отправлении и окружной начальник, и полковник приказали ему просить меня непременно возвратиться, что без меня они дальше не поедут. Давыд мой счел обязанностью также вмешаться в дело, убеждал меня не обращать внимания на пьяного человека и из-за этого не портить служебное дело, интересующее сардаря; что теперь, вероятно, В. уже будет осторожнее и постарается загладить свое грубое обращение одним словом, просил и уговаривал не доводить дела до крайности и возвратиться. Кончилось тем, что я порвал приготовленный ответ и, когда совсем рассвело, пустился опять по вчерашней дорожке. Проехать таких 15–20 верст три раза в два дня было возможно только такому привычному юноше, каким я был тогда. Прибыл я в Хахматы часу в двенадцатом и застал все приготовленным к перевалу через хребет; ожидали только меня. В. пробормотал невнятно что-то вроде извинения, упрекнул в излишней горячности (меня?!) и т. п.; я ему ничего не ответил, и мы пустились дальше.

На перевале, покрытом сплошными массами снега, жестоко резавшего глаза, трудности движения были уже далеко не те, что в ущелье, тем более что старый, осевший снег, одетый леденистой корой, выдерживал тяжесть людей, и нам редко приходилось вытаскивать проваливающиеся ноги. Для меня, в сравнении с попыткой перевалиться за хребет в ноябре месяце 1847 года, о чем рассказано выше, настоящее движение было игрушкой. В. кряхтел, пыхтел, прикладывался к бутылочному горлышку, но, вероятно, по отсутствию опасности гораздо меньше ругался, старался быть любезнее и при остановках заговаривал со мной о деле, но все самыми отрывистыми фразами и очевидно избегая подробных объяснений.

Часу в пятом мы достигли вершины: нам открылась поразительная картина громадного снежного пространства, подобного океану, застывшему в минуту сильного волнения; вдали друг друга пересекающие, друг на друга нагроможденные цепи скал и лесистых гор, сплошь занесенных снегом, одетых в какую-то не то синюю, не то фиолетовую дымку. Ни единого признака жизни кругом, мертвенно-торжественная тишина, вдруг нарушенная кучкой людей, дерзко проникших в заповедные места.

Первую половину спуска мы совершили очень удобно и весело, съезжая на бурках, как на салазках; на северном склоне, понятно, снег был еще крепче; вторую половину, где из-под снега уже торчали камни, мы прошли довольно скоро и без особых приключений достигли ущелья Аргуна. Стало смеркаться, оставалось пройти еще несколько самых трудных верст, с переправой по тем чертовым мостикам, о которых я уже рассказывал. В., закрывавшего глаза, почти переносили на руках; он опять побледнел, безжизненные глаза не двигались, и брани его не было слышно только благодаря реву бешеного Аргуна; он как-то машинально подвигался, отдавшись на волю приставленных к нему двух здоровенных хевсур... Наконец, уже совсем

поздно достигли мы Шатиля и остановились на ночлег в той самой башне, в которой провел целую зиму 1812 года грузинский царевич Александр Ираклиевич, бежавший сюда после усмирения нами кахетинского восстания, имевшего целью возвратить ему престол Грузии.

## XVII.

На другое утро полковник В. первый заговорил о деле, и благодаря тому обстоятельству, что это было тотчас после чаю, до закуски, разговор принял благообразный вид.

Вопрос заключался главное в том, что теперь делать дальше? Мои предположения на этот счет, невзирая на сильное утомление, формулировались еще ночью, и потому я их высказал теперь в законченном виде, предоставляя В. принять их или отвергнуть.

Я напомнил прежде всего главную суть моей записки, вследствие которой он и командирован, то есть что с проложением удобного пути через Хевсурию мы получаем возможность удобнее управлять ею и открыть с этой стороны действия вниз по реке Аргуну навстречу войскам,двигающимся из Чечни вверх и занявшим, очевидно, с этой целью еще в 1844 году аул Чах-Кари, где и выстроена крепость Воздвиженская (штаб-квартира Куринского егерского полка). Ближайшим результатом движения от Шатиля, прибавлял я, было бы покорение соседних кистинских обществ и избавление Тушинского округа и Верхней Кахетии от их хищничеств; отсюда (посредством кордона) можно войти в связь с Владикавказским военным округом, отрезав все лежащее на этом пространстве население от подчиненности Шамилю и значительно обеспечив таким образом спокойствие на Военно-Грузинской дороге, этой важнейшей артерии, связывающей нас с Россией. Наконец, кроме всего этого, лишней удобный путь сообщения, особенно в горах, – вещь весьма полезная и для правительства, и для народонаселения, тем более если сооружение его может обойтись дешево. Затем я повторил уже не раз сказанное, что мы прошли теперь главную часть пути в самое ужасное в горах время, что летом она вовсе не до такой степени скверна, и разработка может доставить возможность значительную часть проходить даже с повозками. Но чтобы В. мог лично и вполне уяснить себе пользу и доступность связи отсюда с Военно-Грузинской дорогой и определить, какие для этого потребовались бы средства, я считал необходимым совершить и другую половину пути, от Шатиля до Владикавказа, невзирая на то что тут придется вступить в борьбу не только с природой, но и с опасностью другого рода, именно: с возможностью попасть в руки непокорных горцев, через некоторые аулы коих придется проходить... Сначала и В., и Челокаев посмотрели на меня, как бы сомневаясь в нормальности моего состояния... Но я не смутился и продолжал доказывать необходимость такого путешествия, без которого перенесенные до сих пор труды окажутся напрасными. Я утверждал, что предприятие имеет все шансы благополучного исхода благодаря именно глубоким снегам и отвратительному времени, в которое горцы сидят по своим саклям, как сурки, да тем мерам предосторожности, которые будут приняты, и наконец, эффект, какой произведет в целом крае и даже в Петербурге известие о таком рискованном путешествии полковника Генерального штаба, приближенного к главнокомандующему лица. Последний аргумент, казалось, возымел хорошее действие, и В. стал уже добиваться подробностей, как я думаю устроить этот переход, без явной опасности быть взятыми горцами первого же непокорного аула и отправленными на веревке к Шамилю.

Мой план путешествия был очень прост: во-первых, до выступления следовало не только никому не говорить об этом, а напротив, показывать вид, что мы собираемся обратно тем же путем, каким пришли в Шатиль; во-вторых, выбрать из шатильцев двух молодцов, бывалых в тех местах, по коим предстоит проходить, чтобы не нужно было ни к кому обращаться за расспросами о дороге, и под их прикрытием пуститься в путь, взяв с собой одного мула для вещей, на которого В. мог бы по временам садиться. Я рассчитывал, что в это время (март) там едва ли придется и встречать кого-нибудь, а если бы и встретились одинокие горцы, то

нам, пятерым, бояться их нечего; аулы же мы постараемся обходить или ночью, или как можно дальше. Шатилыцы все говорят по-кистински (почти то же, что по-чеченски), следовательно, могут на вопросы встречных отвечать весьма правдоподобно, что мы разыскиваем для выкупа пленных и т. п., а в этих случаях все горцы весьма снисходительны. Понятно, что В. и его урядник должны были нарядиться по возможности так, чтобы не быть похожими на русских. Первую ночь придется, вероятно, провести где-нибудь в скрытом лесистом месте, а к вечеру другого дня я рассчитывал быть уже в Цори – общество, считавшееся тогда якобы покорным, то есть не явно с нами враждовавшим. Там, пожалуй, можно будет, уже не скрываясь, попросить у старшины ночлега и нанять оттуда даже верховых лошадей с проводниками до самого Владикавказа, конечно, все за щедрую плату. Я был почти совершенно убежден, что мы непременно благополучно проберемся, если только шатилыцы согласятся нам сопутствовать, на что они, знакомые вполне со всеми местными обстоятельствами, если бы была явная опасность, конечно, не решились бы – при всей своей известной храбрости они больше нас дорожат жизнью и играть ею не станут. Наконец, нужна же некоторая решимость, да и «храбрость города берет».

После долгих «за» и «против» В. стал склоняться на мое предложение, а Челокаев и не умел, и не хотел оспаривать, он только весьма заботился о драгоценной жизни полковника и просил быть осторожными... Кончилось тем, что решили идти через два дня, в течение которых я должен был все приготовить; В. же напишет между тем донесение в Тифлис о первой половине похода и предположении идти дальше. Челокаев проводит нас до высоты за Шатилем (где я, как выше рассказывал, был летом 1846 года с Гродским и Колянковским) и вернется в Тионеты, а оттуда приедет в Тифлис, чтобы встретиться с нами и быть у главнокомандующего при докладе В. своего отчета об исполнении поручения.

Шатиль, хевсурский аул, тогда крайний предел покорной нам страны, имеет около пятидесяти домов и может выставить не более двух сотен человек, способных носить оружие. Но эта горсть людей, жившая постоянно в тревоге и опасности, привязанная к своему родному гнезду, отличалась замечательной отвагой. Шатилыцы не только защищались от всех неприятельских покушений, но сторожили вход в остальную Хевсурию, составляли нечто вроде Хевсурского Гибралтара и пользовались за то общим уважением, играя роль национальной аристократии. В 1843 году известный наездник помощник Шамиля Ахверды-Магома с несколькими тысячами горцев окружил Шатиль, требуя покорности. Шатилыцы, запершись в своих труднодоступных башнях, три дня держались против этой в пять – десять раз превосходившей их толпы, убили ружейным выстрелом самого Ахверды-Магому и до сотни его людей; неприятель, опасаясь быть отрезанным могущими подоспеть подкреплениями, должен был уйти ни с чем. Из двух попавшихся при этом в плен шатилыцев один был зарезан на могиле Ахверды-Магомы, а другой успел бежать. За этот подвиг шатилыцы по высочайшему повелению получили, кроме нескольких Георгиевских крестов и медалей, триста четвертей хлеба, пять пудов пороху, десять пудов свинцу, и приказано было обнести аул каменной стеной, вделав в нее приличную надпись.

Я часто бывал в Шатиле, производившем на меня особого рода поэтически-воинственное впечатление. Это дикое ущелье, сдавленное громадными навесными скалами, этот неистовый рев Аргуна с какими-то по временам отголосками будто дальних пушечных выстрелов (вероятно, от катящихся больших камней); эти почти дикие обитатели, в своих странных костюмах и оружии, со щитами и шлемами напоминающие средневековых рыцарей-крестоносцев, как-то особенно гордо на все взирающие; закоптелые стенки башен, униженные кровавыми трофеями (кистями правых рук) да множеством огромных турьих рогов, за которыми шатилыцы взбирались на вершины недоступных скал и снежных вершин, – все это, повторяю, производило впечатление трудно передаваемое. С шатилыцами я был в наилучших отношениях и оказывал им при всяком случае предпочтение перед другими жителями; у них, впрочем, было менее

всех споров, тяжб и вообще наклонностей к сутяжничеству, чем отличались другие хевсуры и особенно пшавы. Некоторые из шатильцев, чаще пускавшиеся в Грузию для закупок, посещали меня всегда в Тионетах, чтобы взять билеты для свободного прохода, сообщали мне всякие слухи из соседних горских обществ, при этом никогда не уходили от меня без угощения и подарков. Особенно один, звали его, кажется, Важика (уменьшительное от *важи* – храбрый), чаще у меня бывал, выказывая искреннюю преданность. Я решился обратиться к нему насчет предстоявшего перехода во Владикавказ.

Вызвав Важику из сакли, я прошел с ним подальше на берег реки и, взяв с него слово не передавать никому содержания нашего разговора, рассказал о моем предположении, с тем что если он разделяет мои надежды на благополучный исход, то не согласится ли быть нашим проводником, выбрав себе сам товарища.

Важика недолго думал и согласился; он не только разделял мои надежды, но почти ручался за благополучный исход, тем более что имел в соседнем кистинском обществе Митхо много знакомых и *дзмоби́ли*. У хевсур и соседних горцев существует обычай *удзмоби́лоба* – братание. Два человека, оказавшие взаимную услугу или близко знакомые и желающие теснее сдружиться, совершают обряд, заключающийся в том, что наполняют ковшик водкой или пивом, старший или более зажиточный опускает туда серебряную монету, и оба по три раза пьют, целуясь за каждым разом, затем желают друг другу победы над врагом, клянутся быть братьями и не жалеть взаимно крови своей. Освященный временем, обычай этот, как и вообще всякие другие обычаи, соблюдается так строго, что примеры, где названные братья друг за друга делались кровоместниками или и совсем погибали, вовсе не редкость. Важика не скрывал, что летом такой переход был бы чересчур рискованным предприятием, потому что легко можно было наткнуться на хищническую партию, состоящую из людей дальних обществ, для которых ни митхойские знакомые, ни *дзмоби́ли* никакого значения не имеют, но теперь встречи могут ограничиться одним-двумя человеками, и то из ближайших аулов, да если бы и из более враждебных, то с двумя-тремя можно справиться. Затем Важика назвал мне товарища, которого он намерен был пригласить, и кроме того, указал мне на одного из числа наших проводимых хахматского хевсура как на человека, известного своей храбростью, ловкостью и тоже знающего кистинский язык, советуя взять его с собой, ибо на всякий случай лишний человек не помешает. Условившись еще насчет различных подробностей, мы разошлись.

День прошел в приготовлениях, отчасти в препирательствах с В., который, особенно после обеда, то заговаривал о нежелании идти, то требовал от меня *прочных ручательств*, что он не будет взят в плен и прочее. Однако все, наконец, уладилось, и на следующий день к восьми часам утра мы собрались на площадку (В. и его урядник в папах и старых черкесках сверх форменных кафтанов, так что только вблизи можно было бы заметить несовершенство горского костюма), где все и узнали, куда мы решились направиться. Впечатление было различное: тионетские наши спутники, мирные грузины, считали дело чуть не сумасшествием, а старшина их (нацвли) Давид Годжия Швили, мой кум и родственно преданный мне человек, просто схватился за мою руку, грозя не пустить. Шатильцы смотрели равнодушнее, советовали, однако, быть осторожными и не совсем доверять полупокорным аулам, «а впрочем, таких шесть молодцов могут-де постоять за себя и против двадцати», прибавили горские дипломаты. Я, со своей стороны, чувствовал только некоторое усиленное сердцебиение, но вообще был уверен, что все кончится благополучно; да я не только в этот раз, а постоянно, в течение двадцати пяти лет кавказской службы, как будто верил в *счастливую звезду* свою и пускался зачастую безо всякой особой надобности, так сказать, очертя голову, в рискованные путешествия, почти убежденный, что беда меня непременно минует.

Наконец, попрощавшись со всеми и отклонив предложенные проводы Челокаева, мы тронулись в путь по левому берегу Аргуна, едва заметной, полузанесенной снегом тропинкой. Порядок марша установили мы следующий: впереди шатилец (авангард), затем Важика и я

(главная колонна), далее урядник Астахов, ведущий *катера* (обоз), и г-н В. с хахматским хевсуром (арьергард). У последнего за спиной была *гуда* (кожаный мешок) с драгоценными остатками тифлисских запасов: бутылки три рому и две портеру, немного сардинок, сыру и прочего.

### XVIII.

Поднявшись на возвышенную плоскость, о которой я уже упоминал прежде, мы на полускате достигли небольшой непокорной кистинской деревушки Джарего, которую никак нельзя было миновать. К счастью, мы застали дома одного из друзей наших шатильцев, вызвавшегося за приличное вознаграждение провожать нас до Владикавказа. Он недолго собирался, и мы пустились далее в ущелье, занятое шестью аулами общества Митхо, и прошли его боковыми дорожками.

Не более десяти верст прошли мы от Шатилия, а какая разница в характере местности, в постройке домов, в физиономии, costume и вооружении жителей! В Хевсурии горы – масса громадных скал, из трещин которых изредка торчат сосны; здесь они не скалисты, гораздо ниже, покатоги покрыты травой, дома не так стеснены, лучше построены, смотрятся опрятнее, по углам каждой деревни симметрично расположены башни. Кистины говорят чеченским наречием, одеваются по-черкесски, в ногавицы и чувяки, винтовки в войлочных чехлах, за туго стянутым поясом, с большим кинжалом, оправленный в серебро пистолет, шашек почти не употребляют, лошади редкость. Походка и все движения кистин очень грациозны, физиономии привлекательны, бритые головы, подстриженные бородки напоминают уже мусульманство, хоть они весьма плохие магометане, невзирая на все старания шамилевских мюридов. Здесь видны остатки некогда бывшего христианства, но все это смешалось с язычеством, исламом и составило какую-то особую религию. Они называют христиан неверными, а поклоняются святому Георгию; они не едят свинины, имеют по несколько жен, вступают в брак со вдовами своих братьев, но не делают никогда намаза, нет у них ни мечети, ни мулл. В каждом ауле есть кто-нибудь из более уважаемых жителей, считающийся старшиной, но власть его номинальна, в более важных спорах избирают посредников из стариков, знающих все старые обычаи.

Выбравшись из Митхойского ущелья на довольно крутой подъем, мы увидели почти все окрестные кистинские общества; за ними постепенно расширявшееся ущелье Аргуна, поросшее темными лесами, множество горных хребтов, пересекавшихся в разных направлениях, полупокрытых снегом, и затем на горизонте синевато-темная полоса Черных гор, ясно обозначающих рубежи Чечни. Здесь в первый раз В. снизошел до выслушивания моих объяснений насчет предполагаемой мною пользы от прочного занятия этой местности войсками и возможности, с одной стороны, движения навстречу действующим в Чечне отрядам, с другой – устройства кордона к Владикавказу для обеспечения прилегающих к нему местностей от хищнических набегов. Для этого я считал главнейшим основанием хорошую дорогу через Хевсурию до Митхо. Он кое-что набросал карандашом в своей записной книжке, заметил названия некоторых главных пунктов, на речь мою отвечал, впрочем, большей частью: «Да, пожалуй... гм, может быть», и заключил, что доложит все подробно главнокомандующему, хотя полагает, что к выполнению моих предположений, вероятно, встретятся большие затруднения по неимению лишних свободных войск и денежных средств. Я окончательно убедился, что В. просто действует по заранее составленному предубеждению и на беспристрастное суждение рассчитывать нечего; я решился поэтому прекратить всякие дальнейшие разговоры о предмете, для которого, собственно, мы предприняли это трудное, опасное путешествие, и отвечать, только если он сам обратится ко мне с вопросом.

Спустившись с высоты в какое-то глухое, дикое ущельице, мы опять поднимались то по снегу, то по камням, опять спускались, и вообще дорога была очень утомительная, а ноги

мои, обутые в хевсурские кожаные лапти с ремешковыми подошвами, исцарапались кое-где до крови... Между тем нужно было спешить, чтобы не пришлось ночевать в поле. Сколько В. ни ворчал, жалуясь на утомление (хотя он частенько взбирался на катера), сколько ни укреплял себя глотками рома, однако не выходил из себя и, чувствуя себя, так сказать, в чужих руках, видимо, удерживался от раздражения. Только один раз, когда хахматский наш спутник, поскользнувшись, стукнулся спиной о скалу, и раздался звон разбитых бутылок, В. разразился громкой бранью и чуть не поднял руку на виновника такого бедствия. К счастью, две бутылки (из пяти) оказались целыми, и я успокоил его уверениями, что благодаря удаче путешествия мы достигнем Владикавказа гораздо скорее предположенного времени, и двух бутылок хватит.

Одним из опаснейших пунктов на нашем пути была деревня Гул с весьма хищническим населением; нужно было обойти ее по весьма узенькой тропинке, на которой за довольно густым кустарником мы отчасти могли быть скрыты от аула. Почти смерклось, когда мы достигли того места и с большим трудом, двигаясь осторожно, чтобы не оборваться с кручи, кое-как миновали это пространство и пустились дальше берегом незначительной речки.

Было уже совсем темно, когда лай собак известил нас о близости большого аула Цори, в котором старшина Бехо был нам известен как приверженец русских властей во Владикавказе, куда он свободно ездил, занимаясь торговыми делишками, пользуясь особым расположением генерала Нестерова, тогдашнего начальника этого округа. Мы надеялись найти у него приют и вообще всякую поддержку. Однако пускаться прямо в аул, не заручившись обещаниями Бехо и даже не зная, дома ли он, я не решился, и потому счел за лучшее послать вперед присоединившегося к нам в Джарега кистина переговорить с Бехо о принятии неожиданных гостей. Пока посланный возвратился, мы часа полтора просидели на снегу, дрожа от холода. Наконец, послышались шаги, и мы были обрадованы донельзя. Бехо был дома, приглашал к себе, ручался за нашу безопасность и выслал своего человека проводить нас до его дома. Необычное позднее вступление такой кучи людей в аул вызвало повсеместный бешеный лай собак, а затем стали выходить и люди с вопросами; кучка любопытных все возрастала, и мы достигли дома Бехо в сопровождении порядочной толпы, гуторившей без умолку и все старавшейся заглядывать нам в лица. Бехо принял нас очень радушно и все упоминал: «О, Нестеров кунак, Нестеров джигит».

В кунацкой (отдельная комната для гостей; *кунак* во всей Азии – гость, приятель) пылал огонь; земляной пол был покрыт белыми войлоками. Нас окружили женщины и дети, смотревшие с любопытством и страхом на грозных *урусс*, про которых не забыли еще с 1832 года, когда наши войска под начальством барона Розена громили их.

Хозяин приказал нарезать теленка, который и был поставлен перед нами сваренный в чугунном котле; вместо хлеба подали в другом котелке вареные лепешки, вроде малороссийских галушек. Строго соблюдая чеченский обычай, Бехо ни за что не согласился сесть с нами вместе ужинать и все время стоял, прислуживая нам; подавая кому-нибудь воду, он снимал папаху и не надевал, пока не возвращали ему кувшина. Когда мы покончили с едой, он присел в угол, наскоро тоже поел и передал остатки толпившимся у дверей семье и чужим.

Наш митхойский проводник оказался виртуозом: ему принесли балалайку, формы треугольника, с тремя струнами, и он целый час распевал какие-то унылые, грусть наводившие песни; концерт закончился грациозной и живой пляской нескольких мальчиков, ловко становавшихся на носки и выразивших неописанный восторг, когда я каждому дал по новенькому двугривенному.

Было уже около полуночи, когда мы, наконец, улеглись и после такого утомительного трудового дня растянулись на войлоках, сняв мокрую обувь. Хозяин погладил каждого из нас своей папашой, приговаривая «дыкин бусис», то есть «доброй ночи», и ушел. В одной комнате с нами остались урядник Астахов и хахматский хевсур, а оба шатильца с митхойцем отправились спать в соседний дом. На всякий случай я осмотрел двери и ставни, задвинул их накрепко;

оружие повытерли, насыпали свежего пороху на полки и прочее. Я хорошо знал, что в Азии вообще, а в Кавказских горах в особенности, поговорку «береженого Бог бережет» забывать не следует. На расспросы о дороге до Владикавказа Бехо нам объявил, что обыкновенно они доезжают туда на другой день к раннему обеду, но если рано выехать, не жалеть себя и лошадей, то можно и к позднему вечеру в один день добраться. Мы порешили не жалеть себя и лошадей, лишь бы не пришлось провести еще ночь на открытом воздухе, или искать ночлега в каком-нибудь ауле, подвергаясь искушению туземцев приобрести лакомую добычу.

Было еще темно, когда мы согрели наскоро в медном чайнике воды, напились чаю и стали торопить отъездом. За шесть лошадей и двух конных проводников до Владикавказа Бехо взял с нас, помнится, 25 рублей, да обещание замолвить за него доброе слово генералу Нестерову. Митхойца мы отпустили назад, конечно с приличным вознаграждением, и чуть стало брезжить, тронулись в путь. Бехо поехал тоже с нами.

Невдалеке от Цори, на холме, я заметил большой каменный крест, полупокрытый мхом. Бехо объяснил, что предки их были христиане, и по преданию крест этот поставлен их предводителем в память победы над мусульманами.

С полным восходом солнца мы достигли реки Ассы и разбросанных по ее берегам деревень общества Галгай. Все пространство до поворота реки к северу представляет ряд небольших холмов, поросших мелким лесом. Местность вообще очень живописная и резко отличается от угрюмых ущелий Главного хребта. Галгаевцы ничем не разнятся от других кистин: они, должно быть, только богаче своих соседей, в одежде и в отделке оружия видна некоторая роскошь, часто попадаются верховые; женщины милевиднее и одеты опрятнее, в длинные, часто шелковые сорочки и ахалухи, обшитые позументами собственного изделия.

К полудню мы приблизились к трудному перевалу через хребет, составляющий левый берег Ассы. Сделав у подножия двухчасовой привал, во время которого Бехо сообщил нам кое-какие топографические сведения об окружающей местности, мы пустились далее. Дорога была адская, то по обрывистым тропинкам, усеянным огромными камнями или гладким, скользким плитняком, то по вязкой глинистой грязи, под проливным дождем. Мы подвигались весьма медленно, ибо В. поминутно слезал с лошади, и когда я его успокаивал, что лошадь-де привычная, что бояться нечего, он пресерьезно ответил мне: «Конечно, вам весьма желательно, чтобы я себе шею свернул». Пришлось оставить его в покое. Урядник Астахов должен был всякий раз тоже слезать, чтобы поддержать стремя и вести лошадь В., а проводники наши все слезали по вежливому обычаю, требующему не оставаться на коне, когда старший идет пешком. Таким образом, я всю дорогу ехал впереди, часто останавливаясь и поджидая далеко отстававших. Да у меня, впрочем, ноги были так искалечены предшествовавшим переходом, что я едва мог несколько шагов пройти, особенно по камням и под гору. Наконец, одолели мы и этот, покрытый дремучими лесами перевал и спустились в Тарскую долину, населенную ингушами. Здесь нам нужно было более всего опасаться встречи с хищническими шайками, которым отсюда самые удобные пути к берегам Терека, нашим главным дорогам и казачьим станицам.

Обширная Тарская долина представляет совершенно ровную степную местность; разбросанные по ней аулы совсем не то, что в горах: домики – просто плетневые мазанки с камышевыми крышами, по углам деревни деревянные вышки, на которых стояли часовые. На кладбищах поразило меня множество разноцветных значков, воткнутых в могилы, – они ставятся по убитым в делах с неприятелем, в то время, значит, с русскими. Все эти галгаевцы, ингушевы и прочие мелкие племена по рекам Ассе, Сунже и их притокам считались тогда полупокорными, то есть не явно подчиненными Шамилю; по местности они были нам легче доступны, и сами, конечно, нашим отрядам противостать не могли, да к тому же нуждались во владикавказском рынке. Однако это их ничуть не удерживало от участия в полчищах Шамиля против нас и, что еще хуже, от набегов мелкими шайками на наши проезжие дороги и поселения. Начальство считало нужным жить с ними на какой-то дипломатической ноге, принимать и награждать

старшин, показывать вид, что верят в их преданность и прочее, чего я, признаться, никогда хорошенько понять не мог. Такие отношения слабого соседа к сильному были бы понятны, но обратно, русского начальства к каким-нибудь ингушевцам – просто забавны. Партизаны дипломатии ссылались на то, что-де и этих горцев нельзя строго обвинять за двусмысленность, так как они живут между двух огней, а мы были якобы не настолько сильны, чтобы защитить их от нападений шамилевских партий, и что все же лучше иметь их полупокорными соседями, чем совсем враждебными. Доводы эти не выдерживали строгой критики: во-первых, шамилевским значительным партиям не так-то легко и близко было доходить до окрестностей Владикавказа или других наших больших крепостей; туземцы прекрасно могли заранее знать все, что в горах затевалось, а следовательно, и сами собраться с силами для обороны и своевременно дать знать русским, у которых всегда нашлось бы несколько рот для поддержки, более нравственной даже, искренно намеренных защищать жителей. Но в том-то и дело, что они не хотели быть врагами предводителя родственных и единомышленных людей, которым принадлежали все их симпатии; они служили ему верой и правдой и с его разрешения играли роль полупокорных русским. Во-вторых, лучше иметь десять врагов открытых, чем одного скрытого – это дипломаты забывали, а полупокорные отлично этим пользовались и, имея везде свободный доступ, знакомились со всеми проходами, со всеми местными условиями, обычаями наших караулов и оборонительных мер, выучились немного по-русски, и вооруженные этими важными в мелкой партизанской войне средствами десятки лет с блистательным успехом производили свои опустошительные хищничества, держа страну в постоянной тревоге и тормозя всякое развитие мало-мальски гражданской жизни. Теперь, когда Кавказской войны нет, не стоило бы вдаваться в подробности таких специальных, так сказать, предметов; я коснулся этого, только вспоминая мои тогдашние соображения, которых почти никто из высших начальствующих лиц не разделял до графа Н. И. Евдокимова, напротив, требовавшего от горцев прямого ответа: ты наш или нет?

Было уже около девяти часов вечера, дождь не переставал лить как из ведра; все мы, особенно В., невзирая на подкрепление остатками рома, еле-еле держались на седле; лошади видимо стали уменьшать шаг, и приходилось все чаще и чаще подергивать поводом и подталкивать их шенкелями. По словам проводников, до Владикавказа оставалось еще часа три, и мы опасались, что ни люди, ни лошади не вынесут этого расстояния, так что пришлось бы просто остановиться, и под проливным дождем, в непроглядную темь, простоять до рассвета; лечь же не было возможности: вся долина превратилась почти в одну сплошную лужу. Проехали мы еще часа два, и силы и терпение окончательно истощились, В. пришлось поддерживать, а то он уже раза два, задремав, чуть не свалился.

Вдруг раздался пушечный выстрел... Мы просто обмерли от такой неожиданности! Понятно, нам тотчас пришла мысль, что где-нибудь вблизи появился неприятель, сделал нападение, и пушечный выстрел по обыкновению значит «тревога». Мы остановились; вдруг другой, третий выстрел, и даже огоньки показались со стороны Владикавказа. Как быть? Проводники решительно настаивали торопиться дальше, ибо если бы мы и встретили какую-нибудь шайку, то, во-первых, в темноте они могут нас принять только за своих; во-вторых, шайка не может быть значительная, а нас ведь тоже восемь человек; в-третьих, шайка, во всяком случае, может встретиться только отступающая или скорее даже удирающая от преследования, значит, ей не до враждебных затей со встречными. Я совершенно согласился с этими практическими доводами, и мы тронулись вперед. Особой тишины соблюсти не было возможности, потому что шлепанье тридцати двух конских ног по воде луж производило в ночной тишине довольно громкий своеобразный лязг. Опасность положения как бы прогнала усталость и сон; мы приободрились, поправили оружие на всякий случай и зорко оглядывались во все стороны; даже лошади как будто ожили, наострили уши и ступали тверже...

У меня, признаться сказать, всю дорогу от Цори вертелась беспокойная мысль, что какой-нибудь тамошний джигит, пока мы спали в ауле, мог пробраться вперед и предварить друзей о предстоящем проезде нашем, а такой лакомой добычей и заманчивой славой подвига весьма легко было соблазнить любого горца, даже покорного. Не хотел я, само собой, об этом и заговаривать, чтобы не испугать В., готового, пожалуй, отказаться от дальнейшего путешествия. Только моему шатильскому приятелю Важике сообщил я это, когда мы подъезжали в сумерки к Тарской долине. Каково же было мое удивление, когда он не только совершенно подтверждал возможность моего опасения, находя такую выходку вполне в характере лукавых кистин (то есть всех без исключения кавказских горцев, подумал я при этом), но еще в подкрепление опасения рассказал мне следующий казус: во время длинного отдыха нашего у подножия перевала ему вздумалось вынуть свою винтовку из чехла и смазать бараньим жиром (это делают все азиаты против ржавчины), при этом *из ствола* вдруг потекла вода, очевидно, нарочно туда налитая; Важика сейчас сообщил об этом своему товарищу шатильцу – у него оказалось то же самое! Мне они положили ничего об этом не говорить, чтобы не возбудить опасений; между тем тотчас же шомпольным штопором вывинтили промокшие заряды, вычистили, смазали стволы и зарядили наново. Случай этот они объясняли просто: спать их уложили в соседнем доме вместе с двумя какими-то кистинами, и те, пользуясь их крепким сном, налили воды в стволы винтовок, делая их совершенно негодными в минуту необходимости... С какой целью было это сделано, решить трудно, вернее, просто ради желанья подгадать хотя чем-нибудь шатильцам как христианам, но тогда такое приключение, очевидно, должно было только усилить мои опасения, и я, признаюсь, с сильным сердечным постукиванием продолжал путь, которому, казалось, уже и конца не будет.

Между тем пушечные выстрелы давно умолкли, темь стояла непроглядная, а ливень не переставал. Проехали мы, ничего не видя и не слыша, еще с три четверти часа, и вдруг с небольшого холмика увидели множество огоньков, расслышали звон церковных колоколов, лай собак – Владикавказ расстилался перед нами широкой площадью! Радость нашу при этом превзошло только разве неожиданное восклицание часового: «Кто идет?» и на ответ наш: «Свои, русские, казаки»; опять его же громкое слово: «Христос воскрес, коли вы русские». Ту т только разъяснилась загадка пушечных выстрелов! Это была ночь под Светлое воскресенье 1848 года, о чем мы и думать забыли, а на Кавказе это торжество издавна принято было встречать пальбой из орудий, ракетами и прочим. В каком-то порыве радостного чувства мы похристосовались тут же и с В., и с урядником Астаховым, и поздравили друг друга с праздником, и еще более с благополучным окончанием рискованного предприятия...

Наконец, явился дежурный офицер и только после подробных расспросов приказал отворить нам ворота. Через полчаса мы сидели в гостинице Лебедева за чаем, а вся трактирная прислуга толпилась у дверей, оглядывая нас, как редких зверей; очевидно, Астахов успел уже в буфете разразиться после долгого молчания самым фантастическим рассказом о нашем путешествии.

Проспав мертвым сном до одиннадцати часов утра, я кое-как почистил свой архибайгущский костюм, вместо лаптей надел чуваки и вышел позавтракать. В передней стояли уже ординарец и вестовой, присланные комендантом к услугам В. Очевидно, местные власти уже узнали о его приезде ночью, и потому он поторопился отправиться к генералу Нестерову, к которому как главному начальнику во Владикавказе следовало явиться. Погода хоть и разгулялась, даже светило ярко весеннее солнце, но грязь была буквально невылазная; В. послал к коменданту просить верховых казачьих лошадей, и через час мы поехали в крепость.

Генерал Нестеров, старый знакомый В., встретил его в передней объятиями, поцелуями и закидал вопросами: как, что, откуда? Изумлению его не было конца, и на лице ясно даже выразилось сомнение в истине рассказа. Я стоял между тем поодаль, ожидая представления генералу; наконец, тот сам меня заметил и спросил, а это что же за чеченец с вами? В., рас-

смеявшись, назвал мою фамилию, прибавив: да, только с таким чеченцем и мог я совершить свою безрассудную поездку. Новое изумление и сомнение генерала, начинавшего, кажется, думать, что В. его мистифирует. И неудивительно, потому что сами чеченцы не усомнились бы признать меня своим земляком, так преобразился я несколькими годами пребывания среди горцев и увлечением поэтической стороной их воинственной, полудикой жизни; ну, а наружно и говорить нечего: бритая голова, маленькая русая козлиная борода, загорелое лицо, костюм, оружие и все ухватки до тончайшей подробности не уступали оригиналу. Однако когда я заговорил с ним да еще добавил, что хотя лично никогда не имел чести быть ему известным, но по переписке об одном довольно важном деле полагаю, он не может меня не знать, и рассказал ему при этом о враждебных отношениях подчиненных ему галгаевцев с подчиненными мне хевсурами-архотцами, прекращенных благодаря нашим обоюдным распоряжениям, – генерал убедился, наконец, что видит перед собой в действительности русского чиновника, а не байгуша из Чечни, и наговорил мне тьму комплиментов. В эту минуту вошли в комнату жена генерала и ее сестра, похристосовались с В. и пошли ахать: как это вы рискнули на такую поездку и т. п. Петр Петрович Нестеров, кивнув мне незаметно головой, обратился к жене: «А вот позволь тебе представить молодого чеченца, проводника А. Н., который так отлично выучился говорить по-русски, что никак узнать нельзя, просто как будто родился в России!». И опять несколько минут мистифирования, затем удивления и т. д.

Когда дамы ушли, В. вспомнил, что в передней остались ждать Бехо и все наши проводники, которых тут же и представил генералу. Этот их обласкал, подарил им денег, обещал Бехо представить к награждению медалью за такое усердие и преданность и прочее. На приглашение остаться обедать мы решительно отказались, ссылаясь на усталость и желание скорее лечь спать.

Мы возвратились в гостиницу и велели там подать обед, за которым В. потребовал шампанского. Лакей с видимым желанием угодить ловко подбежал с завернутой в салфетку бутылкой и над самым ухом В. с особым шиком заставил хлопнуть пробку под самый потолок, но в ту же минуту получил от высокой руки полковника полновесную пощечину с прибавлением: «Экая скотина, думает, что угощает сапожников». Раздался общий хохот сидевших за столом нескольких офицеров, а бедный лакей, не пощаженный и в первый день Светлого праздника, удалился крайне сконфуженный. Таков был образованный человек, и таковы были тогда нравы вообще, а некоторых военных в особенности.

В сумерки В. предложил мне отправиться провести вечер у Опочининых. На вопрос мой, кто такие Опочинины, он коротко ответил: «Здесь батаре́йный командир полковник Опочинин, известный своим гостеприимством, у которого гости никогда не переводятся; жена у него грузинка княжна Орбельяни, вот, кстати, можете по-грузински наболтаться». Отправились. В. по обыкновению был принят с распростертыми объятиями, а на вопрос, что это с вами за горец, ответил: «Чеченец, провожавший меня через горы, хорошо говорит по-русски и даже по-грузински, пожалуйста, обласкайте его». И опять повторилась утренняя мистификация. Сама *madame* Опочинина, сестра ее Иванова и другая, тогда еще молодая девица Софья Яковлевна (ныне супруга генерал-адъютанта князя Дмитрия Ивановича Святополка-Мирского) обступили меня и закидали вопросами, каким образом я мог выучиться так хорошо говорить по-русски и еще более по-грузински, да притом с таким правильным выговором. Я рассказал им какую-то басню, чуть ли не о пленном офицере русском да о пленной грузинке из Кахетии, у которых выучился говорить и прочее, пока, наконец, В., заметив, что меня оставляли в некотором небрежении, не объявил моего настоящего имени. Изумление бесконечное по поводу грузинского языка и особенно по такому совершенному превращению в чеченца.

Вечер прошел весьма приятно, после хорошего ужина с отборным кахетинским вином заставили меня еще проплясать лезгинку под бубен, что опять вызвало немало удивления. Уже только около полуночи, распрощавшись, мы сели на казачьих лошадях и вернулись в гости-

ницу спать. С тех пор началось мое знакомство с почтеннейшим, всему Кавказу известным семейством Опочининых...

На другой день утром наши шатильцы, получив еще от В. по несколько рублей, под покровительством весьма довольного Бехо отправились обратно той же дорогой домой, а хахматского хевсура, который особенно нравился В., решено было взять в Тифлис и представить там наместнику с просьбой о награде. В полдень мы на двух курьерских тройках уехали из Владикавказа и довольно поздно, перевалившись через Главный хребет, остановились ночевать в урочище Квишеты у имевшего здесь свое пребывание начальника горского округа полковника князя Авалова, женатого на сестре г-на Золотарева, о котором я рассказывал выше, по случаю совместного посещения начальника главного штаба.

Здесь мое представление состоялось уже без мистификаций, и Авалов, знавший от Золотарева и о моем предположении, и о командировке В., и даже о моих дурных отношениях с камбечи Челокаевым, принял меня весьма дружелюбно и тотчас же заговорил о деле, то есть о дороге через Хевсурию в Чечню и прочем. В. безо всяких обиняков объяснил ему, что находит всю эту затею неудобноисполнимой и едва ли могущей принести какую-нибудь пользу. Князь Авалов, бывший, напротив, совершенно другого мнения, что мне известно было от Золотарева, счел, однако, более благоразумным не только не противоречить сильному человеку, но даже как бы и подтвердить его мнение. Человек он был, положим, не весьма далекий, полуграмотный, но по части «дипломатики» и «умения обращаться с сильными людьми» он сделал бы честь любому придворному; он поспешил перенести разговор на другой предмета, и именно о занимавшем тогда приближенные к князю Воронцову военные сферы вопросе, как и что предпринять для обеспечения Кахетии от набегов лезгин. Я уже упоминал, что вообще тогда была мода на проекты, очень снисходительно принимавшиеся князем и дававшие авторам надежды на особое внимание; по вопросу о защите Кахетии чуть ли не больше всего явилось проектов, да что-то все несостоятельных. Я немало удивился, когда В., не успев Авалов коснуться этого предмета, позвал урядника Астахова и приказал ему достать из чемодана портфель, из которого была вынута изрядного объема тетрадка.

«Вот, князь, если вас этот предмет интересует, не хотите ли послушать мнение мое об ограждении Кахетии; надеюсь, что это вполне достигнет цели, и князь Михаил Семенович, кажется, совершенно согласен со мной». Понятно, Авалов стал просить сделать ему большое удовольствие и прочее, и В., не вставая от стола, за которым мы ужинали, принялся с большим самодовольствием за чтение предположения об устройстве прочной обороны Кахетии от набегов лезгин. Подробностей я теперь, само собой, не помню, но вся суть заключалась в устройстве каких-то блокгаузов, кажется даже подвижных, то есть из деревянных срубов, легко переносимых с места на место; упоминались, кажется, примеры подобных блокгаузов в Алжирии, оказавшихся-де весьма полезными французам; затем указывались пункты, на которых следует поставить блокгаузы – и Кахетия превратилась бы чуть не в Тамбовскую губернию по совершенной безопасности. Князь Авалов поминутно приговаривал: «Прекрасно, вот это так проект, вот кому кахетинцы спасибо скажут» и т. п., а я едва держался на стуле, поминутно засыпая. Наконец В. одолел свою тетрадку, с полчаса еще давал Авалову дополнительные объяснения, и мы ушли спать.

Утром, напившись у князя Авалова чаю, мы уехали дальше и остановились на станции в Анануре, чтобы оттуда отправить хахматца в Тионеты для сообщения Челокаеву о нашем возвращении и для доставления мне платья, без которого нельзя было бы в Тифлисе показаться. Хакхматец должен был с Челокаевым прибыть в Тифлис.

От Ананура до Тионет есть прямая дорога верст около тридцати пяти, и В. для проезда хахматца воспользовался бывшими у него в запасе бланками открытых приказов на взимание лошадей от казачьих постов; прописав на одном бланке имя хевсура и «от Ананура до села Тионет давать по одной казачьей лошади без малейшего задержания», а передал бланк заве-

довавшему на станции казачьим постом уряднику для немедленного назначения казака и верховой лошади. Урядник, прочитав приказ, прицепил шашку и явился в комнату, где мы с В. закусывали.

– Тебе что нужно? – спросил его В.

– Нам, ваше высокородие, предписано давать лошадей по открытым листам только по почтовому тракту, а не в сторону, а тут сказано до Тионет, – это место нам совсем неизвестно, и, говорят, очень далеко.

В одно мгновение ока В. вскочил со стула и со словами: «Ты смеешь рассуждать!» отпустил уряднику звонкую пощечину, повернул его к двери, толкнул рукой и ногой одновременно в шею и пониже и приказал тотчас дать лошадь, а то «запорю-де каналью на смерть». Ну, и через пять минут действительно была подана лошадь, хахматец наш уселся и в сопровождении казака уехал. Рассказываю об этом для характеристики времени. К тому же донские казаки играли тогда там самую печальную, унижительную роль, и на них смотрели как на вестовых, конюхов, лакеев; на их лошадях возили всех и вся, даже выюки с багажами штабных офицеров. Бланки открытых приказов на взимание казачьих лошадей и конвоя доставались в распоряжение чуть не всякого писаря, и можно себе представить, как ими злоупотребляли; из-за всякой мелочи, даже не служебной, а просто по частному делу, казаку приходилось нередко по несколько сотен верст проехать верхом, не получая ни гроша денег на харчи и питаясь несколько суток чуть не подаванием от полуголодающих на постах собратьев. И все это продолжалось десятки лет, хотя по временам издавались циркуляры, запрещавшие без особо экстренных надобностей давать открытые листы, но циркуляры исполнялись тогда так же, как и всякие другие постановления.

В 1856–1857 годах, бывши дежурным штаб-офицером войск, действовавших тогда на левом крыле Кавказской линии под начальством генерала Евдокимова, я обратил внимание на жалкое положение казаков, посылавшихся нарочными (а тогда, в разгаре военных действий и спешных распоряжений, при отсутствии телеграфа и правильных почтовых сообщений, посылки были неизбежны и весьма часты), исходатайствовал у Николая Ивановича Евдокимова разрешение отпускать нарочным по 15 копеек в сутки из экстраординарных сумм. Я выдавал им эти деньги всегда вперед, по приблизительно верному расчету дней, потребных на проезд до данного пункта и обратно – они, по крайней мере, могли подкрепляться в дороге чаркой водки и поесть кое-где горячего.

Мы уже были готовы выезжать, как к станции подскочил фельдъегерь, от которого мы узнали, что он восемь дней как из Петербурга (тогда это считалось почти баснословной скоростью), раздавал по пути пакеты с приказами о созыве бессрочноотпускных солдат (по случаю революционных волнений в Западной Европе) и вез нужные бумаги к князю Воронцову. Пока ему запрягали лошадей, мы уселись в перекладную и укатили. Верстах в трех-четыре от Ананура начинался крутой продолжительный подъем, тогда еще нешооссированный и в грязь едва проездной. Хоть в этот раз было совсем сухо, и наша курьерская тройка была превосходна, однако мы поднимались довольно медленно, и через несколько минут фельдъегерь нас обогнал. В. взбесился: «Ты, скотина, почему дал себя обогнать, ведь наша тоже курьерская тройка», – сказал он ямщику. «Помилуйте, ваше высокородие, там сидят двое, а нас четверо, да еще большой чемодан». Но не успел он еще вымолвить последнего слова, как ему полетели в спину кулаки, фуражка у него свалилась на дорогу, и В. не позволил остановиться, чтоб ее поднять, осыпая ямщика кучей казарменных ругательств, неистово повторяя: «Пошел, пошел, такой-сякой!..». Так и въехали мы в Душет с ямщиком без фуражки... Впрочем, В. тут же отдал ему рублевую бумажку, которую тот с поклоном принял.

Вспомнил я об этом мелком приключении опять-таки ради характеристики г-на В., полковника Генерального штаба, представителя военной интеллигенции тех давно минувших времен. Каким черепашим шагом мы ни ползем вперед, все же подобные личности теперь уже

едва ли возможны, и хвастать такими подвигами едва ли кто станет; а тогда ведь этим хвастали, и молодежь военная даже рисовалась до того, что иногда клепала на себя, сочиняла *подвиги*, вроде избития какого-нибудь станционного смотрителя или квартального надзирателя – подвиги, в действительности никогда ими не совершенные и существовавшие только в их воображении...

Поздно вечером приехали мы, наконец, в Тифлис.

## XIX.

На другое утро В. употребил все средства, чтобы облагородить немного свою физиономию, носившую следы пребывания под ветром, снегом и слякотью, а также усиленных приемов спиртуозов, нарядился в полную форму и объявил, что отправляется к князю дать отчет о своей поездке. «Если бы князь пожелал вас видеть и принять в вашем байгушском костюме, – прибавил он, – то я пришло за вами ординарца, а потому не уходите из дому».

Часов около двенадцати явился казак и потребовал меня к главнокомандующему. Я по возможности привел свой наряд в опрятный вид и отправился. В адъютантской комнате сидел В., окруженный адъютантами и разными тузами, ожидавшими своей очереди войти в кабинет, и рассказывал о наших похождениях. Меня встретил он следующими словами: «Князь Михаил Семенович оказывает вам такое большое внимание, что пожелал вас принять даже в этом несвойственном чиновнику костюме; вот сейчас доложат, и мы войдем». Злорадное желание непременно причинять мне оскорбления так и слышалось в голосе и словах.

Через несколько минут вышел кто-то, бывший у князя с докладами, и нас потребовали.

Как теперь помню, князь поднялся со своего кресла, вышел на середину кабинета и обратился ко мне: «Ну-ка, любезный З., дай-ка посмотреть на себя в этом виде; да, совершенный чеченец». – «Притом же, ваше сиятельство, – подхватил В., – такой изумительно смелый, бесстрашный, что едва ли и всякий чеченец с ним сравнится; где все сходят с лошадей, он едет себе, опустив поводья, переправляется вброд через бешеные речки, верхом переезжает эти чертовы мостики, о которых страшно вспомнить, одним словом, совсем не гражданский чиновник». Какая любезная рекомендация и перемена тона, как только заметил в словах князя расположение ко мне! «Да, я, впрочем, давно уже думал, что ему следует быть военным, – сказал, улыбаясь, князь и прибавил: – Спасибо тебе, любезный, за поездку, которая, *благодаря собранным В. сведениям*, останется не без пользы. Дождись здесь своего окружного начальника, который, вероятно, сегодня-завтра приедет; я еще с тобой увижусь». Я откланялся и вышел.

Вероятный смысл доклада г-на В. и результат всего дела становились достаточно ясными после этого приема, а слова князя «дождись *своего* окружного начальника» давали понять, что и насчет моих отношений с Челокаевым дело клонилось не в мою пользу. Я, впрочем, с первого приезда В. в Тионеты и не ожидал ничего лучшего, потому и окончательная неудача не произвела на меня особого впечатления. Я думал только об одном, куда бы мне пристроиться после видимого неизбежного увольнения из округа. Вступить опять в чисто гражданскую, канцелярскую службу казалось мне просто наказанием. Из всего предыдущего очерка моей службы в округе ясно, что возврат к канцелярской деятельности не только не соответствовал бы моим наклонностям, но окончательно разбивал бы все мои мечты и надежды на деятельность в военной сфере и выход из обычной чиновничьей среды. А каково юноше двадцати трех лет отказаться от любимой мечты, понятно всякому! Я уже стал подумывать о вступлении в какой-нибудь полк юнкером, хотя для этого приходилось потерять оба гражданских чина и после более или менее самостоятельного положения очутиться в не весьма завидной роли *нижнего чина*.

На другой день явился в Тифлис Челокаев и тотчас увиделся с В., который взялся доложить главнокомандующему и испросить приказания, когда ему явиться. Прибыл и наш хахматский хевсур, привезший мое платье.

После представления князю Воронцову Челокаев объявил мне, что мы оба приглашены на следующий день к обеду; никаких других объяснений он со мной не начинал. На обеде князь, по обыкновению, был очень любезен, рассказывал княгине Елизавете Ксаверьевне о нашем с В. путешествии, а когда мы откланивались, сказал мне: «Надеюсь, любезный З., что ты и дальше с такой же пользой будешь служить под начальством князя Левана (Челокаева)». Я поклонился, а камбечи как-то особенно выразительно приосанился.

Обдумывая со всех сторон свое положение, я решил, не делая пока никаких попыток к перемене службы, возвратиться в округ и еще в течение нескольких месяцев испытать возможность оставаться там при могущих измениться к лучшему отношениях к Челокаеву.

До выезда из Тифлиса мы были приглашены еще на большой бал, обыкновенно дававшийся князем в конце Святой недели. По ходатайству В. пригласили и хахматца, получившего за оказанные услуги серебряную медаль на шею. На балу он обратил на себя всеобщее внимание своим оригинальным костюмом и вооружением, вовсе не похожими на употребляемые другими кавказскими горцами. Хевсуры носят железные суточные панцири, круглые железные щиты и прямые палаши, как средневековые воины, а на платье нашивают из цветной тесьмы, преимущественно желтой, кресты; женский костюм у них совершенно своеобразный: на голове тюрбаны, вроде турецкой чалмы, платья с короткими юбками, обшитыми в два-три ряда воланами, и с фижмами, длинные чулки при отсутствии неизбежных у всех азиатских женщин шальвар, на руках браслеты, большей частью серебряные, такие же серьги. По этим костюмам, вооружению, множеству палашей с надписями: *Solingen, vivat Husar, vivat Stephan Batory, Gloria Dei* и т. п. и еще по многим обычаям и привычкам хевсур я приходил к заключению, конечно гадательному, не потому ли они крестовых рыцарей, партия коих могла быть заброшена в трущобы Кавказского хребта и вынуждена остаться там навсегда? Затем, обзаведясь женами из ближайших горногрузинских ущелий, они усвоили себе и язык их. Подробное описание этого чрезвычайно оригинального общества я поместил в газете «Кавказ», кажется, 1847 года. Повторять здесь это я не нахожу удобным, такие длинные отступления совершенно прерывали бы нить моих воспоминаний, между тем как рассказанные в особых главах очерки нравов этих горцев будут небезынтересны.

На балу хахматец, озадаченный невиданным зрелищем, не преминул, однако, заметить, что весь этот блеск омрачается непостижимым для него *бесстыдством* этих женщин с обнаженными плечами и руками, так свободно толкающихся между мужчинами и позволяющих при всех себя обнимать (в танцах). Он удивлялся, как это сардарь допускает их к себе в дом, да еще во время приглашения в гости всех знатнейших военачальников... Но когда я ему объяснил, что эти женщины – супруги и дочери всех этих сановников, что это самые лучшие, образованные и достойнейшие изо всех тифлиских женщин, что тут же и жена самого сардаря (наместника) сидит, хевсур мой просто стал в тупик. Это превосходило способность его понимания.

На балу подошел ко мне Потоцкий и просил меня зайти к нему на другое утро часов в десять поговорить, а теперь он не желает со мной долго объясняться, чтобы не обращать на нас внимания.

Понятно, что я в назначенный час явился к нему. Он рассказал мне, что совершенно случайно был свидетелем доклада В. результата своей командировки: все сводилось к тому, что, во-первых, проложение дороги через Хевсурию стоило бы *огромных трудов и затрат* (совершенная неправда) без всякой пользы, ибо зимой все равно не было бы сообщения (оно главнейше и нужно было летом, и продолжалось не менее восьми месяцев в году); во-вторых, что действия с этой стороны на Чечню вызвали бы только новый театр войны, потребовавший

бы отвлечения из других мест значительных войск. Я тогда, конечно, не мог судить о военных средствах, коими можно было располагать, но что огромная польза от движения вниз по Аргуну могла быть, даже ограничиваясь только демонстрацией, ибо отвлекла бы все верхнеаргунские общества от участия в полчищах Шамиля и облегчила бы главные действия в Чечне, в этом я и теперь также уверен, и уже вполне сознательно. Ровно через десять лет, в 1858 году, когда генерал Евдокимов наступал вверх по Аргуну к Шатою, из Хевсурии вниз по Аргуну была двинута милиция, в числе, кажется, тысячи или полутора тысяч человек под начальством своего окружного начальника Ратиева, и движение это весьма облегчило достижение успеха, дав возможность утвердиться разом на всем протяжении Аргунского ущелья; в-третьих, что касается лично меня, то В. не отвергает, что я способный, знающий местные условия и язык чиновник, но все же не прав в отношении своего прямого начальника князя Челокаева, действуя как бы мимо него и не признавая над собой его авторитета. Впрочем, прибавил, что заметил во мне много смелости и находчивости – качества, соответствующего более военному, а не гражданскому чиновнику. Князь, выслушав доклад, приказал В. изложить свой отчет на бумаге и представить начальнику главного штаба, а между тем послать за мной, желая видеть меня, как рассказал ему В., чеченским абреком (*абреки* – беглые, самые отчаянные головорезы).

К этому рассказу Потоцкий присовокупил, что, как ему показалось, В. в отзывах обо мне, видимо, желал только скрывать какую-то раздражительность, то выхвалял мою смелость, то иронически относился к моему желанию в столь молодые годы играть роль *авторитета*, особенно часто повторяя это слово; то обвинял меня в нарушении дисциплины против своего начальника, то опять хвалил мою способность изучать туземные языки и прочее. Когда я, в свою очередь, рассказал Потоцкому всю историю от приезда В. в Тионеты, как он, полупьяный, в присутствии Челокаева так грубо меня принял и недипломатично приступил к примирению меня с окружным начальником, до всех его ругательств, безобразий и совершенного равнодушия к главной цели поездки, Алберт Артурович дал мне следующий совет: никому отнюдь всего этого не рассказывать; борьба с В., за которым стал бы весь штаб со своим главным начальником во главе, не по моим силам; напротив, нужно постараться как-нибудь смягчить его раздражение против меня, чтобы, по крайней мере, не иметь его в числе своих недоброжелателей. Затем следует мне употребить все усилия хоть для виду сойтись с Челокаевым и оставаться в округе, а иначе я окончательно вызову неудовольствие самого князя, который очень не любит, если какая-нибудь его идея встречает противодействие, а он, очевидно, желает, чтобы я оставался в округе, из простого ли каприза или в самом деле думая, что я могу там быть особенно полезным. Затем время-де возьмет свое, и штаб и В. о настоящем деле и обо мне забудут; явятся другие случаи, другие люди, уже, быть может, в мою пользу, и я могу все еще попасть на дорогу к хорошей карьере, которую он, Потоцкий, мне от души желает. «А в виде вступления на предлагаемый путь смягчения В., – прибавил он, – я придумал пригласить вас обоих сегодня обедать, чтобы за стаканами доброго вина произвести по возможности некоторое благоприятное впечатление на сего господина».

Поблагодарив Потоцкого за такое ничем не заслуженное расположение, я обещал последовать во всем его наставлениям, а в три часа явиться к обеду.

Обед выбором блюд и вин изобличал в Потоцком тонкого гастронома. В. был в отличном расположении духа, особенно после двух-трех рюмок старого кипрского вина и после весьма тонко отпускаемых ему хозяином комплиментов, вроде того, что князь был-де изумлен решимостью и самоотвержением В., что весь город только об этом и говорит, что большинство даже обвиняет его за такое рискованное собою, ибо такими офицерами нельзя жертвовать без крайней надобности и т. п. Речь велась попеременно на русском и французском языках. Исподволь Потоцкий свел разговор и на меня, вызвав уже немного осоловевшего В. на откровенности. Он с видом некоторого покровительства повторил уже известные мне отзывы, что я замечательно смелый и как бы среди горцев выросший наездник, что мое знание туземных языков и мест-

ных обстоятельств – вещи весьма полезные, но что нельзя же молодому человеку, в маленькой гражданской должности состоящему, лезть в авторитеты, да еще по военным вопросам... Заметно было, однако, что В., довольный достигнутым результатом, то есть устранением всяких дальнейших попыток к осуществлению моего предположения и низведением его на степень брошенных забвению дел, терял дальнейший интерес и едва ли бы стал еще задаваться какими-нибудь враждебными против меня замыслами.

После его ухода Потоцкий выразил удовольствие результатом обеда. «В., очевидно, считает все дело поконченным и через несколько дней забудет о вашем существовании, чего только и следует желать, ибо от кого нельзя ожидать себе ничего хорошего, нужно сделать того для себя безвредным». Ходячий мешок житейской премудрости был этот тонкий воспитанник иезуитской школы...

Распростившись с Потоцким, обещавшим мне полное содействие, если я встречу в чем-нибудь надобность, я отправился к Челокаеву узнать, когда он думает выехать; очень обрадовался его ответу, что завтра же. Хотелось мне уже скорее вернуться *домой*, то есть в полумрачную саклю в Тионетах, отдохнуть, покончить некоторые дела по жалобам жителей, разбор коих был прерван несколько недель назад.

Так, казалось мне, окончилась возбужденная моей запиской многосложная история, не оставившая во мне ничего, кроме некоторого упадка духа и неодолимого желания скорее переменить место служения. Впоследствии оказались для меня, однако, совершенно неожиданно результаты, о которых я меньше всего мог думать.

## XX.

На первых же днях по возвращении в Тионеты оказалось, что Челокаев не намерен был изменять своих отношений ко мне. Предлагать мне прямо увольнение после высказанного наместником желания, чтоб я оставался в округе, он не мог, но достигнуть этого рассчитывал путем всяких придирок и неприятностей, от которых я, конечно, сам должен был уйти. Я это понимал, и нетерпение поскорее убраться из округа усиливалось с каждым днем. Я решился дотянуть как-нибудь до осени и тогда уже уехать в Тифлис; к этому времени все высшие власти собирались в город после летних походов и разъездов по краю, и я мог бы начать хлопоты о получении какого-нибудь другого назначения.

Как только стаяли снега и наступило удобное время для разъездов по горам, я оставил Тионеты, чтобы в последний раз побывать в ущельях Пшавии и Хевсурии и распрощаться с местами, к которым я в течение четырех лет не только привык, но чувствовал какой-то особенный род привязанности. Эта грозно дикая природа, эти бешеные потоки, тропинки над бездонными пропастями, эта торжественная тишина на высотах, блестящих снегом, укрепленные аулы, с ног до головы вооруженные люди, напоминающие о непрерывной борьбе с опасностями, – все вместе заключало в себе какую-то особенную, труднообъяснимую поэзию и производило какое-то наркотическое действие, вызывавшее в моей юношеской голове бесконечные фантазии. Я провел в этих разъездах все лето, посвящая большую часть времени разбирательству бесконечных тяжб горцев между собой и целыми обществами да наблюдениям и собиранию материалов для подробного описания Пшавии и Хевсурии.

В половине июля я переехал из Шатиля в один из самых диких аулов Ардотского ущелья Муцо, прилепившийся в виде большого орлиного гнезда на вершине полуотвесной скалы. Как Шатиль составлял крайний пункт наших владений на Аргуне и граничил с непокорным обществом Митхо, так Муцо был крайний пункт правее Аргуна, в Ардотском ущелье, и прилегал к враждебному обществу Майсти, из которого хищнические шайки чаще всего проникали в округ. Успешный исход рискованного путешествия с В. разохотил меня к подобным предприятиям, и непреодолимое любопытство влекло меня посетить Майсти, осмотреть окрестности

правее Аргуна и с большой высоты Майсти-Тави (через которую нужно было проходить) увидеть панораму Чечни и прорезывающего ее надвое Аргунского ущелья, в конце которого, на месте аула Чах-Кири, в 1844 году была воздвигнута крепость Воздвиженская – штаб Куринского егерского полка.

В Муцо жили несколько семейств кистин, переселившихся сюда, скрываясь от преследования кровомстителей. Один из переселенцев – Лабуро, тот самый, который был со мной в Тифлисе, вызвался по моему желанию сходить в Майсти, узнать, что там делается, и, если окажется удобным, переговорить с одним из тамошних вожаков о моем намерении посетить их. На третий день он возвратился с весьма благоприятными известиями: самый удалой и почетный из майститцев – Джокола заверял, что я могу смело прийти к ним и положиться на его слово и священный закон гостеприимства.

Недолго думая, я решился привести свою затею в исполнение, и 18 июля 1848 года в сопровождении Лабуро, одного хевсура из Муцо, моего Давыда и рассыльного Ниния Далакия Швили (о котором я уже упоминал выше, при описании моей попытки зимой перевалиться в Хевсурию) пустился пешком в путь, взяв с собой всяких запасов на несколько дней. Не помню наверное, но, кажется, был со мной и некий князь Эристов, бедный молодой человек, служивший в округе в качестве начальника горных караулов.

Перебравшись с немалыми трудами через хребет, во многих местах еще покрытый снегом, мы достигли лесного урочища Гаришка, и хотя было еще рано, но решились остаться здесь ночевать, не надеясь засветло достигнуть Майсти. Здесь, в глубине ущелья, я в первый раз видел большого совершенно черного медведя – чрезвычайную редкость на Кавказе. Над урочищем тянулся гребень острых шиферных плит, и только в некоторых промежутках выдвигались холмики, поросшие влажным мхом. Лабуро, опытный охотник, нашел, что такие места – самое любимое пребывание тура и что можно бы до потемок еще поохотиться. Оставив Давыда с хевсуром разводив огонь, греть воду и вообще готовить ночлег, мы тотчас отправились за Лабуро на гребень; карабкаясь по острым ребрам плитняка, я окончательно убедился, что едва ли в какой-либо другой обуви, кроме хевсурской с плетеными ремешковыми подошвами, можно двигаться по таким местам, но и при этом нужно иметь много привычки и крепость нервов необычайную. Через полчаса карабканий мы вдруг услышали шум посыпавшихся с кручи камней, и вслед за тем из лощинки показалось несколько туров: впереди предводитель с огромными рогами, за ним штуки три-четыре поменьше и без рогов; оглянувшись в нашу сторону и как бы нюхнув воздуху, они вдруг, как по команде, сделали прыжок в сторону с кручи, головами вниз; в эту минуту раздались наши выстрелы, один из безрогих взмахнул набок задними ногами, и все исчезло. Нам показалось, что один должен быть убит, и решено было попытаться пойти в направлении, взятом турами. Поиск превзошел наши ожидания, ибо тотчас под местом, с которого туры сделали свой прыжок, в рытвине с полурастаявшим снегом мы нашли убитого молодого тура. Спор между Лабуро и Далакия Швили, кем убит тур, разрешился в пользу последнего, потому что когда вынули засевшую в кости пулю, она оказалась его.

До крайности утомленные, но в веселом расположении духа возвратились мы к месту ночлега, и пока пили чай, Давыд на шомполах нажарил турьих шашлыков, и мы поужинали отлично, проспав затем до восхода солнца, покрывшись бурками, невзирая на то что лежали просто на камнях, а в головах у меня вместо подушки стоял погребец с чайным прибором и на нем вдвое сложенная переметная сумка. Поднявшийся перед рассветом сырой туман пронизывал до костей, бурки побелели, ноги окоченели, и высота в девять-десять тысяч футов над поверхностью моря давала себя знать. Но как только показались первые лучи солнца, мы поторопились тронуться дальше и после нескольких верст быстрого движения согрелись; часов около девяти мы остановились, чтобы помыться, принарядиться и позавтракать, затем пустились дальше, все по гребню, по узкой каменистой тропинке, пока не достигли покатости, с которой начинался уже спуск на северную сторону хребта. Ближе к нам, с правой стороны,

в боковом ущелье виднелись аулы Майсти; дальше, по едва заметному направлению Аргуна, открылся вид на Чечню, но все представлялось сплошной массой пересеченных лесистых хребтов, и никакого определенного понятия о местности составить нельзя было.

Не доходя несколько верст до Майсти, мы были встречены Джоколой с двумя товарищами, поздравлявшими нас с благополучным приходом. Джокола – стройный горец лет тридцати, с блестящими карими глазами и темно-русой бородой, ловкий, полный отваги, протянул мне руку, которую я принял, выразив благодарность за доброе расположение и готовность познакомиться меня с его родиной. Часов около двенадцати мы, наконец, вошли в аул Погой, в дом Джоколы.

Я достаточно исходил кавказские горы во всех возможных направлениях, но ничего угрюмее, мрачнее ущелья, в котором расположены три аула общества Майсти, я не встречал. Один носит название Цахиль-Гой, то есть Деревня Креста, без сомнения здесь была когда-нибудь христианская часовня. Бедность жителей самая крайняя, за совершенным отсутствием не только пахотной земли, но даже удобных пастбищ; все ущельице – почти ряд голых, неприступных скал; лучи солнца проникают в него на несколько часов, а зимой, вероятно, весьма редко и не более как часа на два; все достояние жителей – оружие да несколько коров и коз; соседи они весьма беспокойные, и хищничество составляло их специальность. Таково это общество, подобное которому едва ли можно встретить еще где-нибудь. Интересно бы узнать, что они делают и как живут теперь, когда с покорением всего Кавказа и утверждением нашей власти их ремеслу должен был быть положен предел. Оставаясь на своих местах, едва ли они могли найти достаточные средства для существования – может быть, переселились на более удобные места?

Несмотря, однако, на бедность, для угощения меня зарезали барана, которого тут же стали варить; дым, не находя выхода, клубами поднимался к потолку, давно уже поэтому принявшему лоснящийся черный цвет. Вся деревушка состоит из двухэтажных башен, в верхней части коих помещаются люди, а в нижней – корова, несколько овец и запас кизяку. Хозяин долго рассказывал мне о притязаниях мюридов укрепить между ними мусульманство, о том, как Майсти еще недавно отстаивали свою независимость, прогнав толпу чеченцев, окруживших их деревню по приказанию Шамиля; затем о своих набегах с мелкими партиями в верховья Алазани, откуда он не раз приводил пленных кахетинцев и т. д. После ужина он развлекал меня игрой на балайке, пел, плясал – одним словом, старался выказать полнейшее радушие. Я предложил ему «побрататься», на что он с радостью согласился. Я подарил ему три серебряных рубля и пистолет, а он мне – отличный кинжал.

Утром человек пятнадцать собрались поздравить меня с приходом. Поблагодарив их, я обещал им дружбу, готовность быть при случае полезным и просил их жить, как добрым соседям подобает. По моему предложению затеяли стрельбу в цель. На расстоянии 200 шагов была поставлена расколота палка и в ней пожертвованный мной серебряный рубль, служивший и целью, и призом. Много было отличных выстрелов, опрокидывавших даже палку, но рубль все еще оставался на своем месте; наконец, один старик, стрелявший уже два раза, с некоторой досадой передал ружье своему сыну лет десяти или одиннадцати; тот весьма проворно сам зарядил длинную винтовку, уселся на землю, уперся в коленки, стал целиться и выбил монету из палки. Нужно было видеть торжество мальчика и радость отца! Впрочем, у горцев это не редкость: я в Шатиле не раз видел как мальчишки девяти-десяти лет по несколько человек упражнялись в стрельбе в цель, с большим искусством попадая в едва заметные точки. При появлении неприятеля многие из мальчиков выбегали с винтовками на тревогу.

Часу в одиннадцатом в сопровождении *брата* Джоколы и еще нескольких кистин мы отправились из этой в следующую деревню Тут-Гой, куда нас пригласил на ночлег родственник Джоколы – Тешка. Вечером собралось в маленькую его башню много гостей, с большим любопытством смотревших на меня, на мой щегольской черкесский наряд и красиво отделанное

оружие. Несколько прехорошеньких девушек, одетых в длинные красные или желтые сорочки, ахалуки, подпоясанные ременными кушаками по горскому обычаю, импровизировали в честь мою песнь, превознося мою храбрость, отвагу, меткость в стрельбе, ловкость в верховой езде и тому подобное – в глазах горцев наивысшие достоинства человека. После под звуки балалайки и другого инструмента, по волосным струнам которого играют смычками, как на виолончели, три девушки показали мне образец своей живой грациозной пляски, выделявая с необыкновенной быстротой мелкие, частые па и становясь на кончики больших пальцев, как наши балетные танцовки. Когда я предложил им в подарок несколько мелких монет, они отвечали, что не возьмут от меня подарка, пока и я не покажу им своего искусства в пляске. Никакие отговорки не помогли, я должен был выйти на середину, снять папаху, поклониться всей компании (таков уж общий обычай) и, выговорив себе условие получить в награду от каждой танцовки по поцелую, пустился выкидывать ногами, раскинув врозь руки, припрыгивать, потопывать – одним словом, как пляшут лезгинку в Грузии. Сделав таким образом несколько кругов под общее хлопанье в ладоши, я почти насильно расцеловал девушек (ощувив при этом крайне неприятный аромат кизяку и козлиного запаха), подарил им денег и возвратился на свое место при всеобщих кликах *марджи конаг, марджи конаг!* (удалец, удалец!), а мои люди просто в умиление пришли, что я так достойно поддержал славу их начальника...

Было уже около полуночи, когда гости один за другим со словами *дыкин буис* (доброй ночи) удалились; нам на полу постлали по войлоку, и мы, наконец, улеглись. Лучина потухла, в амбразурку стены мерцала звездочка, тишина нарушалась однообразным шумом горного потока. Мне не спалось, я лежал в каком-то полузабытьи, мысли толпились каким-то хаосом. Я переносился от России к Тифлису, от родного дома и от княжеского дворца наместника к башне в Тут-Гой... Засыпая, я часто просыпался, взглядывал на окружавшие меня предметы. Как бы забыв, где и с кем я, ощупывал в головах свое оружие... Никогда не забуду я этой ночи! Занесенный в такую даль, в дикий, оторванный от всего известного мира угол, в трущобу живущих разбоем дикарей, не признающих ничьей власти, я веселился, рискуя между тем жизнью или, еще хуже, свободой... А все кипучая молодость да жажда сильных ощущений!

Вертелась у меня там же еще мысль, не попытаться ли пройти по Аргуну до Воздвиженской, где тогда находился с войсками сам главнокомандующий, и озадачить всех такой сумасбродной смелой выходкой, но Джокла на мой вопрос о таком путешествии решительно отказался, не желая рисковать ни своей, ни моей головой; вся Чечня была тогда на ногах по случаю сосредоточения значительных русских отрядов, все дороги были усеяны партиями, караулами и вообще нельзя было думать пройти туда благополучно.

На другой день, распрощавшись с гостеприимными майстинцами, я пустился в обратный путь. До вершины горы провожали меня толпой с песнями и выстрелами, а Джокла и Тешка пошли со мной до Муцо «отдать визит».

В конце июля оставил я Хевсурию, кружил еще долго по ущельям Арагвы и Иоры в Пшавии, где в то время один за другим совершаются их полуязыческие праздники, и в августе возвратился в Тионеты, отправив тотчас же просьбу об увольнении меня от должности. Вскоре получилось и разрешение на поданную просьбу. Испытав затем еще немало неприятностей и придинок при сдаче нескольких бывших у меня дел и прочего, я, наконец, около половины сентября выехал в Тифлис.

Итак, после четырех с лишним лет я оставлял Тионетский округ навсегда. Грустно было расставаться с местом, где началась моя тревожная кавказская служба и где простые, бесхитростные люди выказывали мне, по-видимому, непритворное уважение и привязанность. Не бесплодно прошли для меня, однако, эти годы. Не говоря о полученных наградах, составлявших небывалое исключение в среде гражданских чиновников, не говоря о личном знакомстве с таким лицом, как князь М. С. Воронцов, и почти со всеми высшими властями в крае, изучением там грузинского языка, ознакомлением с нравами и обычаями туземцев, имеющих во

всей Азии много сходного между собой, усвоением всех приемов обхождения с ними, отчасти даже их образа жизни, я положил, так сказать, основание всей своей последующей деятельности, находившей, невзирая на все свое разнообразие, в этом фундаменте свои примеры и заключения. Это была для меня как бы подготовительная школа, и как без нее немислимо никакое высшее образование, так без моей подготовки в округе не было бы возможно удовлетворительное исполнение позднейших служебных обязанностей. И в отношении физического развития я всем обязан тому времени, 1844–1848 годам. Там я приучился по суткам не оставлять седла, по несколько десятков верст пешком проходить по крутизнам гор, вообще уметь применяться к местным условиям и переносить всякие резкие климатические перемены, всякие труды и лишения, о которых понятие имеют только люди, совершавшие не раз походы в Дагестане и лезгинских горах. И все это впоследствии мне пригодилось, все нашло себе применение и поставило меня на Кавказе в число людей, признававшихся годными для исполнения разнороднейших поручений. Я меньше всего думаю здесь о самохвальстве; я рассказываю о том, что в действительности было и что, вполне в этом уверен, подтвердит всякий из старых сослуживцев моих или вообще знавших меня на Кавказе. Да, впрочем, и качества, мной приобретенные, не составляли чего-нибудь уж очень особенного и не были редким исключением.

К числу воспоминаний о пребывании в Тушинском округе должен еще прибавить знакомство с академиком Броссе, приезжавшим, кажется, в 1846 или 1847 году в Тионеты для изысканий по части грузинских древностей, что составляет его ученую специальность. Мы совершили с ним несколько поездок по окрестным горам, в которых сохранились развалины древних церквей с живописью и надписями на стенах, и вообще провели очень приятно несколько дней. Почтенный академик тоже говорил отчасти по-грузински, но книжным языком и при том с таким акцентом, что жители не могли без улыбки слушать его речи.

Проводив г-на Броссе в Тифлис, я там через него познакомился с Н. В. Ханьковым, известным нашим ориенталистом, бывшим тогда правителем дипломатической канцелярии князя Воронцова. Ханьков изумлялся моему знанию грузинского языка и оказал мне искреннее расположение, еще более усилившееся впоследствии, когда я опять как-то встретился с ним в Тифлисе и заговорил с ним по-татарски.

## XXI.

Расставался я с Тионетами в очень грустном настроении: безызвестное будущее не рисовало мне ничего особенно хорошего. Неудовольствие князя Воронцова за оставление службы в округе было более чем вероятно, а за этим неудовольствием, само собой, следовало бы полуравнодушное, полупрезрительное отношение всех прочих властей... Но еще грустнее было мне покидать места, в которых протекли несколько лет самой пылкой, увлекающейся юности. Сколько поэзии в окружающей дико-грознай природе и таковых же населяющих ее людях! Сколько сильных ощущений в этих постоянных опасностях, в этой борьбе с бурными потоками, со снежными лавинами, с тропками над бездной, под нависшими скалами! Постоянно вооруженный, ежедневно на коне, скачка, джигитовка, стрельба в цель, отрубание кинжалом *с одного взмаха* бараньих и коровьих голов, что считалось своего рода удалством, значительный успех, достигнутый мной во всех этого рода упражнениях и ставивший меня при удовлетворительном знании грузинского языка в весьма заметное положение среди всего местного населения – все это не могло не привязывать к месту.

Вот уже тридцать лет прошло с тех пор, как я уезжал из Тионет, но и до сих пор воспоминания об этом крае сохранились в полной силе, и какое-то тоскливое чувство, *eine gewisse Sehnsucht*, тянет меня хоть бы раз еще взглянуть на эти снежные вершины, послушать этот рев Аргуна, проследить за бесстрашным всадником, несущимся во всю прыть по тропинке над бездной, вниз по круче в 50 градусов уклона!..

Пока перейду к рассказу о дальнейших моих личных похождениях, считаю не лишним сделать краткий очерк племен, населяющих Тионетский округ. Я уверен, читатель не посетует на меня за это. Тушины, пшавы и хевсуры, особенно последние, – нечто чрезвычайно оригинальное. Забившись в свои горные труппы, оградившись ими, как китайской стеной, они вот уже сколько столетий не меняют ничего в формах своей жизни: костюм, вооружение, верование, обычаи, язык – одним словом, и важнейшие, и самые мелочные стороны их быта, как святыня, хранятся и исполняются педантически, переходя из рода в род. Так было в мое время, и я сомневаюсь, чтобы что-нибудь изменилось и теперь.

Население округа состоит, во-первых, из тушин, занимающих ущелье Андийского Койсу и частью верховья Алазани, но зимой большинство спускаются из своих заносимых снегом трупп на Алванское поле – благодатную долину в Верхней Кахетии, где у них построены отличные дома; во-вторых, из хевсур, населяющих ущелья Хевсурской Арагвы и ее притоков по южному склону Главного хребта, по реке Аргуну с притоками и реке Ассе на северном склоне хребта; в-третьих, из пшавцев, живущих по верховьям рек Иоры и Пшавской Арагвы до самого подножия хребта по его южному склону; наконец, в-четвертых, из части грузин с присоединившимися к ним выходцами из Пшавии, Хевсурии и Кистетии, занимающих прекрасные плодородные долины Тионетскую и Эрцойскую по среднему течению той же реки Иоры.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.